

Жумабек Джумабаев

В ЖАРКИХ
СТРАНАХ

Жумабек Джумабаев



**В ЖАРКИХ
СТРАНАХ**

РАССКАЗЫ

ФРУНЗЕ «КЫРГЫЗСТАН» 1983

84 P7
Д 40

Художник Д. Чочунбаева

Рецензент В. Шаповалов
Предисловие Мара Байджиева

Д — 70302—176 144—83.4702010200
М 451 (17)—83

© Издательство «Кыргызстан», 1983 г.

ВСТРЕЧА С САМИМ СОБОЙ

Читаю рассказы Жумабека Джумабаева. Читаю и чувствую, что в них чего-то не хватает. Чего? Полнокровия красок. Контраста света и тени. Игры бликов. Перелива лазури. Его «ослепительное солнце» не заставляет меня невольно щуриться. Там, где глубокая тень — мне не так прохладно, а там, где должен пульсировать желаргы — (так у нас называется свежий ветерок, дующий с ледниковых гор) я слабо слышу привычный трепетный звон. Что это? Почему? Чувствую напряжение не в сюжете, не в контексте слов и мыслей, а в себе самом. Почему? И тут я невольно вспомнил сюрреалистический фильм конца двадцатых годов. (Я видел его в Госфильмофонде.) В нем есть эпизод, когда герой встречается самого себя таким, каким он был двадцать лет назад. Тот двадцатилетний не узнает и не понимает этого — себя сорокалетнего, а этот сорокалетний не узнает и не понимает того — себя двадцатилетнего. Они начинают стрелять друг в друга из пистолетов, хотя в сущности это один и тот же человек.

Я помню свои ранние рассказы, свою первую книжку и первый печатный отзыв покойного Михаила Аксакова — очень осторожный, педагогичный, безмерно теплый, подчеркнуто доброжелательный, а в общем, снисходительный. Таким я был, когда делал свои первые робкие шаги в литературе. Жумабек Джумабаев сейчас, видимо, похож на меня и моих сверстников двадцатипятилетней давности, отсюда, видимо, и мои ассоциации с фильмом Бюнуэля.

Отрадно то, что книжка Жумабека Джумабаева (о достоинствах ее пусть судит сам читатель) не случайное явление. Автор ее ушел с третьего курса физфака МГУ, хотя был вполне успевающим сту-

дентом, работал на стройке, был осветителем киностудии, пробовал перо, готовясь в Литинститут, опубликовал несколько рассказов. И вот ныне он уже выпускник Литературного института им. А. М. Горького и автор первой книжки. Мне лично Жумабек Джумабаев симпатичен своей самоотверженностью, серьезным отношением к литературному труду. Он решил писать не потому, что в одно прекрасное утро решил, что он вундеркинд. Нет. Написав первый маленький рассказ, он понял, что писать — это сложно, трудно, что хлеб писателя окроплен потом, сопряжен с внутренними сомнениями и муками, известными только ему самому, и что к профессиональной литературе надо готовиться так же, как готовится к своей решительной схватке профессиональный боксер: тренирует свои мышцы, напрягаясь до предела, испытывает свою выносливость, выдержку, силу удара, мужество, словом — боеспособность — впереди пятнадцать раундов беспощадной битвы на глазах тысячной орущей толпы, бой за победу, за славу, за жизнь. В работе и образе жизни молодого литератора Жумабека Джумабаева я вижу истинные бойцовские качества, верю, что когда-то он выйдет на боевой ринг и выдержит все раунды боя. В представленных рассказах явно ощущается то, что автора побудили взяться за перо мысли и чувства почерпнутые из других художественных явлений, и он ищет точку опоры на земле, пытается создать ту или иную литературную коллизию. Но это первые опыты, эксперименты. Я верю, что с Жумабеком Джумабаевым произойдут те же глубокие конфликты с самим собой, которые рано или поздно переживает каждый истинный художник, и он неизбежно придет к реалиям самой жизни и будет высекать из нее мысли и чувства, создавать яркие произведения, играющие всеми цветами спектра. Я желаю тебе, Жумабек, большого мужества и выносливости, больших удач в твоём длинном тернистом пути. Как гласит русская пословица: «Взялся за гуж — не говори, что не дюж». Этот путь ты выбрал сам.

Может, пройдет время и на открытом ринге арбитр поднимет твою правую руку, и ты увидишь восторженные глаза своих почитателей и гром рукоплесканий. Будем ждать...

Мар Байджиев

В ЖАРКИХ СТРАНАХ

Почти невероятная история

Согласитесь, в нашей жизни случаются ситуации, когда мы затрудняемся сказать наверняка, где есть мы сами, а где не мы. Это происходит потому, что мы иногда склонны подражать тем или иным образцам поведения. Мы не только действуем, но и мыслим согласно с этими образцами, более того, считаем, что образцы — это уже мы. Можно или любить их или ненавидеть, но все равно следовать им. Подобного рода подражания и фантазии человеческого ума относительно нас самих приводят к тому, что наша жизнь значительно усложняется, становится путанней и подчас превращается в полнейшую неразбериху. Мы совершенно перестаем понимать где мы, а где нет.

...Взвизгнули тормоза. Машина остановилась у подъезда. Из нее выскочили двое парней, Абды и Шаршен.

— Где она? — спросил Шаршен.

— Должна быть здесь.

— А времени сколько?

— Пора уже.

— Будем ждать?

— Будем ждать. Это самое лучшее.

— Правильно!.. Или сбегает к ней?

— Да, бежим к ней! Это самое лучшее.

Перескакивая через две-три ступеньки, парни заторопились наверх. Первый этаж, второй, третий... Дыхание у пар-

ней все чаще и чаще, но бег по лестнице тут ни при чем, это от волнения. Вот она дверь. Вот он звонок. Кнопка утоплена до отказа! За дверью тихо... Ну же, ну, теперь или никогда!..

Дверь приоткрылась, насколько это позволила дверная цепочка. Из-за двери выглянула пожилая женщина.

— Чего вам надо? — подозрительно спросила она.

— Здравствуйте, Гуля дома?

— А зачем вам она?

— Просто так, хотели поговорить, — тяжело дыша, ответил Абды.

— Шли мимо, решили зайти, проведать, и все, — переводя дух, сказал Шаршен.

— А больше ничего не хотите? — сердито спросила женщина.

— Ничего.

— Нет, совсем ничего. — Дружно замотали головами парни.

— Кто из вас Абды? — спросила женщина.

— Я, — выдвинулся вперед Абды.

Женщина смерила его пристальным взглядом:

— Ах, вот с кем она собиралась бежать.

— Куда бежать? — сделал непонимающий вид Шаршен. Его налитые, как после укуса пчелы, щеки надулись еще больше, кривая полоска усов дернулась и вопросительно замерла над полными губами.

— Не притворяйтесь, — усмехнулась женщина. — Гуля мне все рассказала.

— Не может быть... — почти прошептал Абды. Его лицо, однако, оставалось по-прежнему таким, словно оно было долго под ветром и ветер выдул на нем красивые мужественные черты. — Мы так не договаривались...

— Пусть она сама скажет! — потребовал Шаршен.

Поколебавшись, женщина позвала Гулю.

По ту сторону дверной цепи показалось заплаканное лицо девушки.

— Я ничего не говорила маме, я только посоветовалась с ней, какие туфли мне лучше надеть... Она спросила, зачем, и я нечаянно сказала... А так я ничего не говорила.

— Ну и какие туфли? — спросил Абды.

— Никакие... — и Гуля заплакала опять. — Прости меня, Абды, я не виновата, это мама не разрешила, я не могу поехать с тобой.

Заплаканное лицо исчезло. Снова появилась пожилая женщина.

— Убедились? — довольно сказала она. — А теперь да-вайте, идите отсюда, пока я милицию не вызвала.

Через полчаса Абды и Шаршен сидели на террасе летнего кафе. Вместе с ними сидел шофер газика, худой длинный парень. Сдвинутые вниз брови и поджатые вверх губы придавали его лицу нахмуренный и задумчивый вид.

На столике стояли стаканы и нераскупоренная бутылка вина.

— Она предала нас, — произнес Абды.

— Да, — подтвердил Шаршен и взялся за бутылку. — Она не имела права так делать, — сказал он, обращаясь больше к бутылке, нежели к Абды.

— Никто не давал ей такого права, — куда-то вверх, в небо, выдохнул Абды.

— А мы в каком положении оказались? — Шаршен откупоривал бутылку. — С какими глазами мы вернемся к тебе домой? Все уже приготовлено, бараны зарезаны, — он налил вино в первый стакан, — родственники и соседи приглашены, — он налил вино в другой стакан, — подарки куплены, — налил в третий стакан, — а мы сидим тут ни с чем. Что про нас скажут?!.. Про нас скажут, что мы не джигиты, а ишаки лысые. Позор! Фактический позор! — И он со стуком поставил бутылку на стол.

— Позор я выдержу, — сказал Абды. — А то, что любовь пропала — не знаю.

Шофер внимательно слушал, но сам, в силу своего молчаливого характера, в разговоре не участвовал.

— Абды, скажи мне честно, как ты считаешь, мы с тобой джигиты или лысые ишаки? — спросил Шаршен.

— Джигиты... — после тяжелого раздумья ответил Абды.

— Правильно! Я знал, что ты так скажешь. Иначе я не поехал бы с тобой за невестой.

— Прости, что я втянул тебя в пустое дело.

— Нет, Абды, я считаю, раз мы поехали сюда как джигиты, то и вернуться должны как джигиты. Так?

— Так, — вздохнул Абды. — Но любовь-то?

— Э-э, зачем так говорить? Ты пойми одну вещь, фактически любовь джигита никогда не пропадет! Понял?

— Понял. Пусть не пропадет. А я пропал.

— Ну-у, если так думать, мы бы все давно пропали. Надо думать по-другому.

— Как?

— Если у джигита есть любовь, то невеста фактически найдется!

— Неужели?! — вымолвил Абды, то ли удивленный, то ли пораженный этой мыслью.

Шаршен навалился локтями на шаткий столик и энергично произнес:

— У меня есть ат-тличный план! — Потом он неожиданно, впервые за весь разговор повернулся к шоферу и добавил. — Будешь против — перестану уважать... Пошли!

Парни вышли из-за стола и направились к газику. Невыпитое вино так и осталось стоять на столе. Всем троем было не до вина.

Каждый из нас способен с чувством произнести вот такую фразу: все дороги рано или поздно пересекаются. И если кто-то из нас так скажет, то он никогда не ошибется, а все остальные, естественно, будут поражены подобным глубокомыслием.

В то время, совсем недалеко от места, где стоял знако-

мый нам газик, стройная девушка догоняла одного молодого человека.

— Качкын! Постой, Качкын!

Молодой человек шел быстро. Услышав свое имя, он полюбовернулся и нехотя остановился.

— Что ты собираешься делать?— почти набежала на него девушка.

— Думать!

— И все?

— Да, Динара. Мысль — это главное в человеке. — И элегантным движением руки он поправил свою шевелюру.

— А что будет... с нами? Со мной? Ты ведь сказал при всех, что будешь действовать.

— Я готов подтвердить это еще раз.

— Кажется, ты очень испугал мою маму.

— Я готов испугать кого угодно.

— А мне ты хочешь что-нибудь сказать?

— Я счастлив говорить с тобой хоть целую вечность,— сказал Качкын и сделал шаг, чтобы уйти. — Но сейчас мне надо побыть одному.

— Постой. Тогда я скажу тебе... Медлить нельзя. Если ты хочешь, чтобы что-то решилось, решай сейчас.

— Сейчас? А может, не будем спешить с таким серьезным вопросом?

— Или сейчас, или никогда.

— Ну хорошо,— скрывая досаду, сказал Качкын. — Жди меня через час, у себя дома.

— С вещами? — просветлела лицом Динара.

Качкын ничего не ответил. Он повернулся и удалился медленными шагами.

Пропыленный газик ехал по тихой улице. Брезентовый верх дверок был снят. С переднего сиденья высовывался Шаршен, он внимательно осматривал тротуар:

— Ага, вот идет одна. Абды, нравится тебе такая?

— Ничего, конечно. Только не надо бы, а? Настроения нет.

— Нет, ты только посмотри на нее — реклама! А как идет, как идет! Играет! Очень современная девушка. Ну кто, кроме меня, найдёт тебе такую!.. — Увидев, что его друг не вдохновлен должным образом, Шаршен переменял тон. — Пойми, Абды, другой дороги у нас нет. Нет другой дороги!

— А, черт с ней, — нетвердо махнул рукой Абды. — Берем!

— Вот это деловой разговор. Шеф, давай, аккуратно... Разумеется, той самой девушкой, к которой стал подруливать газик, оказалась Динара. Она еще не успела понять, что к чему, как была подхвачена под руки и втиснута на заднее сиденье между парнями.

— Жми педали! — скомандовал Шаршен, на ходу захлопывая дверцу.

Газик рванул и исчез за поворотом. Пыль, поднятая им, оседала медленно, сонно и призрачно.

В машине нервничали.

— Пустите меня, пустите! Что вам нужно?!

— Спокойно, спокойно, спокойно, — частил Шаршен.

— Все будет хорошо, всё должно быть хорошо, — успокаивал Динару Абды.

— Вы хулиганы, вы ответите!

— Мы не хулиганы.

— Куда вы меня везете? Что за глупые шутки в конце концов?! — Динара старалась вырваться, ее черные волосы бились на порозовевших скулах.

— Крадут тебя, ясно? — морщась, объяснил Шаршен. Для большей убедительности он приставил к боку Динары острый ноготь мизинца и, подмигнув Абды, низким голосом приказал:

— Тихо, молчи. Зарэжу...

Расставшись с Динарой, Качкын пошел к себе домой.

Никаких мыслей в его голове не было, практических планов тоже, он шел домой только потому, что ему надо было хоть где-нибудь переждать этот час. Дома он перекинулся парой слов с младшим братом и прошел к себе в комнату. Взяв со стола дочитанную до середины книгу, он с удовольствием растянулся на кушетке. «Село Степанчиково и его обитатели»... Качкын любил Достоевского, читал его запоем и вчитывался настолько, что иногда преступал в жизни грань между собой и литературными героями. Откладывая книгу в сторону, он думал: все это писалось не сто лет назад, а сейчас, от его, Качкына, имени. На этой мысли он, как правило, засыпал.

Сегодня что-то не читалось. В голове всплывали события прошедшего часа. С Качкыном это бывало нередко, когда вдруг вспоминался разговор, в котором он каким-либо образом оказывался на высоте,—или удачно сострил, или сумел проявить глубокомыслие, или был безукоризненно вежлив, или еще что-нибудь в этом роде, и вот уж он целиком погружался в эти разговоры, десятками минут, если не часами смаковал их и так и эдак, с особым упоением, на бис, повторял те места, где он был наиболее хорош и выгоден, и всем этим вдоволь тешил свое меланхолически-ненасытное самолюбие. Сегодняшний разговор с родителями Динары, помимо своей приятной стороны, имел для Качкына и другое важное значение, вдвойне располагающее к подобному времяпрепровождению.

С недавних пор Динара начала намекать ему на то, что хорошо бы его возвышенные мысли воплотить в какую-нибудь чеканную форму. Например, зайти бы к Динаре в гости и познакомиться с ее родителями. До нынешнего времени, под разными предлогами Качкыну удавалось избежать этого, но вот вчера, как это ни печально, его настиг острый, неумолимый резец чеканщика. «Ты же обещал!»—в упор сказала Динара. «Когда?»—на удивление искренне изумился Качкын. «Как, ты уже забыл?»—Динара напряглась всем телом, ее глаза сузились, затем широко раск-

рылись, щеки порозовели. Качкын смутился. «Неужели,— подумал он,— в тот раз, у меня?..» Он начал вспоминать подробности их последней встречи. Это была одна из тех тайных встреч, от которых могла бы прийти в ужас любая мать, имеющая взрослых детей и строгий образ мыслей насчет их воспитания.

«Тогда я действительно мог сказать что-то лишнее,— Качкын силился хоть что-нибудь вспомнить. — Надо ж, а ведь лежала, как будто спала. Неужели она запоминает все, что я ей говорю?..» Он посмотрел на Динару. Выражение ее лица говорило о том, что с ее губ вот-вот могут сорваться малоприятные слова, вроде: обманщик! негодяй! подлец! А таких слов в адрес возвышенного строя своих мыслей Качкын допустить не мог. «Ну хорошо,— с решимостью, в которую ему не очень-то верилось самому, сказал он Динаре. — Раз я обещал, я обязательно сделаю». Сказал, и потом долго жалел об этом.

Час тому назад с тяжелым чувством он шел к Динаре домой. Прощай, свобода, прощай, молодая беззаботная жизнь. Тогда же у Качкына мелькала рискованная мысль — прямо посреди улицы вырваться из-под руки Динары и, ничего не говоря, убежать, скрыться, перестать звонить, и так далее в том же духе. Она поймет, и между ними все кончится... Конечно, Качкын отказался от этого стремительного, непродуманного варианта. Он позволил-таки привести себя туда, куда его вели.

«Жаль, конечно, с ней расставаться, хорошо с ней было,— лежа на кушетке, Качкын потянулся и похлопал себя по животу. — Но ничего не поделаешь, хорошего понемножку, хха-ха... Плохой смех, да, понимаю, подлец. Говорил, люблю, говорил, женюсь — самый что ни на есть подлец. И буду им. Хватит высоких слов. В моем положении иначе нельзя, надо менять роль. Тем более, что я буду не простым подлецом, а так сказать, думающим, сознательно относящимся к себе как к явлению. Другие как уходят? — пиджак через руку, и привет, я тебя не знаю, ты

меня не знаешь. А то, что у человека душевная рана осталась, это их не интересует. А меня интересует, и этим я выше их и, может быть, даже, хотя еще как сказать, может быть, не подлец. Впрочем, оспаривать не берусь. Если специально устроить так, чтобы она увидела меня во всех отношениях не симпатичным, и после этого сама, это очень важно, сама отвернулась бы от меня. Пусть при этом пострадает мое самолюбие, зато ей будет легче. А я потерплю, пострадаю, моя цель, если хотите, благородная. Гуманная. В любых обстоятельствах надо быть человеком. Тем более, обстоятельства благоприятны. Удобный повод предоставила Рая Фаизовна, ее мать. Хорошая женщина, я ее почти полюбил любовью зятя, кха-ха... Только бы выдержать до конца свою новую роль. Надо сходить к ним еще раз...»

Качкын незаметно уснул, и смутные планы на будущее стали сами собой дозревать в его голове, утомленной мыслительной деятельностью.

Мчались по шоссе. Шофер отрешенно следил за дорогой. Молчали. Все слова унеслись куда-то вдаль, их красноречиво сменил азарт предельной скорости, мелькание деревьев, столбов, домов и горячий ветер, бьющий прямо в лицо.

Узнав, что ее крадут, Динара успокоилась. «Так бы сразу и сказали», — заявила она парням. Парни удивились, но вида не подали, только притихли. По просьбе Динары они остановили машину около сельской почты. Динара позвонила домой по междугородному автомату. «Мама, не беспокойся, меня украли», — тоном победительницы сказала она. «Кто?» — донесся из трубки голос Раи Фаизовны. «Ты знаешь, кто», — ответила Динара и повесила трубку.

Тронулись дальше. Дорогой Динара думала о Качкыне, она восхищалась им. Как быстро и как решительно он действует! Вот это настоящий парень. Она не ошиблась в нем. С таким человеком можно ехать не только на край света, но даже и в загс.

Чем меньше километров оставалось до дома Абды, тем беспокойнее ерзал на сиденье Шаршен. Наконец, он повернулся к Абды и повел бровью в сторону Динары: мол, поговори с ней, подготовь морально, познакомься хотя бы.

Абды так и сделал.

— Замуж хотите? — спросил он на первый случай.

— Конечно! — последовал вдохновенный ответ. — Разве мы не для этого едем?

— Для этого, для этого, — с облегчением закивал головой Шаршен. Спустя секунду он улучил момент, когда Динара повернулась к окну, и обменялся с Абды недоуменными взглядами.

— Я так рада, что все так быстро решилось...

— Правда? — недоверчиво спросил Абды.

— Вот и хорошо, — поспешил добавить Шаршен. — Значит, сегодня же сыграем свадьбу.

— Как? Прямо сегодня? — радостно удивилась Динара.

— А что тянуть? — тряхнул головой Шаршен. — Все уже приготовлено, соседей позвали, стол накрыли, самое время жениться. Я бы тоже не отказался.

— Вот это да! — восхищенно произнесла Динара. — Вы, наверное, хорошие друзья с Качкыном?

— С каким Качкыном? — осторожно спросил Шаршен.

— Как с каким? Он же меня крадет.

— Извините, девушка, это я вас краду, — с обидой в голосе уточнил Абды.

— Не может быть!.. — не поверила своим ушам Динара.

Двумя часами раньше в квартире Имановых произошло следующее.

Всей семьей сидели дома, ждали Динару. Ждали не одну, а вместе с молодым человеком, которого она собиралась официально представить своим родителям. Так по крайней мере думали Рая Фаизовна и Эрик Иманович. Слово «жених» не произносилось, но, когда Динара сообщила, что

в субботу собирается пригласить в гости одного молодого человека и что хорошо бы им всем поприсутствовать при этом, семья Имановых восприняла новость именно в этом смысле. На то были причины: дочь была знакома с Качковым давно, около полугода и, по наблюдениям Раи Фаизовны, ни с кем другим не дружила.

На кухне все было готово к чаю. Пиалки, ложки и вазочки с конфетами, вареньем, печеньем были заранее собраны на большом подносе. Его, после прихода молодых, можно было без суеты внести в столовую и быстро накрыть на стол. Молодые что-то задерживались. Рая Фаизовна сидела в кресле, листала журнал мод и нервничала. Во-первых, как и все энергичные натуры, она плохо переносила минуты вынужденного бездействия. Во-вторых, это знакомство дочери очень беспокоило Раю Фаизовну. Последнее время Динара возвращалась домой поздно, чуть не полночь, но это еще куда ни шло, самое главное — об этом даже стыдно сказать — она несколько раз не ночевала дома. Конечно, Рая Фаизовна не верила стандартным «была у подруги». Между ней и Динарой происходили бурные пререкания, причем Раю Фаизовну возмущали не столько сами пререкания, сколько их безрезультатность. Рая Фаизовна пробовала действовать и через Эрика Имановича, с тем, чтобы тот серьезно поговорил с дочерью, но Эрик Иманович, как казалось его супруге, воспринимал поведение дочери с преступным спокойствием и, похоже, был заодно с ней. Вот почему у сидящей в кресле Раи Фаизовны с каждой минутой росло заведомое предубеждение против незнакомого молодого человека, который, еще не посетив ее дома, уже оставил ее в одиночестве, без союзников. Она предчувствовала, что готова будет не сдержаться, ввязаться в спор, в скандал, не зная даже, права ли она, или, по крайней мере, права ли хотя бы по-своему. Она предчувствовала, что, когда все уляжется, она будет разбитой, несчастной, как, впрочем, всегда в таких случаях, и будет валить все на нервы, на трудности жизни, на нечуткость и неблагодарность

дочери по отношению к ней, к матери, которая только и делает, что заботится о будущем своих детей. Несмотря ни на что, внушала себе Рая Фаизовна, она и не подумает отступать от своего кровного долга: быть достойной матерью своих детей.

В коридоре послышалась возня. Рая Фаизовна откинулась на спинку кресла и громко сказала в потолок:

— Опять перед зеркалом толкаетесь? Разобьете когда-нибудь! А ну, идите сюда.

В столовую зашли еще две дочери Раи Фаизовны, двенадцатилетние сестры-близнецы, Мира и Лира. Обе тоненькие, в джинсах и модных майках. На Мире была майка с надписями, на Лире — майка со звездочками. Обе сестры носили одинаковые стрижки, с челками, напущенными до самых глаз. Из-под этих челок, как из-под козырьков, они смотрели юными хулиганистыми сорванцами.

— Тоже мне, невесты нашлись. Красавицы. Шли бы лучше в кино. Тут будут взрослые разговоры, не для вас, вам будет неинтересно.

Сорванцы начали занудливо и дружно растягивать слова:

— Наоборот, интересно. Ну что тебе стоит.

— Мы только немножко посмотрим на него, и все.

— Разве можно отпускать нас на улицу, там хулиганы.

Рая Фаизовна нетерпеливо качала головой. Ей хотелось сказать им что-нибудь убедительное, но это «что-нибудь» никак не приходило на ум. Молчание Раи Фаизовны, затягиваясь, становилось похожим на молчаливое согласие. Оно прервалось тем, что из спальни вышел сияющий Эрик Иманович. На нем была белая рубашка.

— Куда это ты нарядился? — спросила у него Рая Фаизовна.

— Никуда. Просто по случаю.

— По какому такому случаю?

— Которого мы все ждем.

— Ты забыл добавить, с нетерпением ждем, — язвитель-

но сказала Рая Фаизовна, давая выход своему раздражению.

— Не надо так, Рая. У Диночки сегодня ответственный день, нам надо отнестись серьезно. Хорошо, если он запомнится ей светлым и немножко праздничным.

— Ах, какой чуткий папа! — захлопнула журнал Рая Фаизовна. — Сними эту рубашку.

— Зачем? — настороженно спросил Эрик Иманович.

— А я говорю, сними. Она не глажена.

— Ну и что? — вдруг повысил голос Эрик Иманович. — Почему я не могу позволить себе одеть какую хочу рубашку? Кто тут в конце концов хозяин дома?!

— Ты, ты, успокойся, никто в этом не сомневается. — Рая Фаизовна поняла, что спорить с мужем сейчас бесполезно. Она знала его характер: Время от времени Эрику Имановичу необходимо было доказать самому себе, что он хозяин в доме, что он сильный мужчина, что он всегда сможет поставить на место того, кто посягнет на его святыне права... Эрик Иманович непоколебимо считал, что в семье ему следует быть деспотичным феодалом. Почему он так считал, неизвестно, но это было так. На самом же деле характер у Эрика Имановича был очень добрый, мягкий.

— Я хочу надеть именно эту! Погладьте ее! — Эрик Иманович снял рубашку и бросил ее на стул. Расставив ноги на ширину плеч, он прочно встал посреди комнаты. Что-то мужественное появилось во всем его облике, туго обтянутом майкой в сеточку. Все молчали, созерцая главу семьи.

В этот самый момент в тишине квартиры стало явственно слышно, как в дверном замке зашевелился ключ. Все догадались, что это пришла Динара. Общее оцепенение охватило всех членов семьи, их взгляды устремились в дверной проем коридора. Ждать пришлось недолго. Входная дверь распахнулась, и!.. в прихожую мягко вошел молодой человек очень приятной наружности. Это был Качкын.

Его несколько смутило то внимание, которое в первый

момент было обращено на него. Мире и Лире бросились в глаза его хорошо сшитые брюки, рубашка с изящно отвернутыми манжетами и светлые замшевые туфли. Еще им понравилось, что он высок и строен, и они подумали, что он, наверное, спортсмен. Эрик Иманович тоже отметил, что вошедший завидно худощав и строен. Кроме того, смущение молодого человека пришлось по душе Эрику Имановичу. Уважительный, подумал он, замечая, что даже в такой затруднительный для себя момент молодой человек находит силы бегло посмотреть на всех и улыбнуться всем, вежливо и поровну. Из-под тонких век, под которыми рельефно проступало глазное яблоко, Качкин смотрел так, будто он знает за каждым какой-то мелкий грешок, и тут же, с понимающей улыбкой, готов его простить. Вдобавок казалось, что Качкину совестно от этой своей способности угадывать чужие грешки.

Рая Фаизовна отметила в госте красивый с горбинкой нос, четко очерченный рот, сравнительно бледную матовую кожу, тонкой лепки уши и густую шевелюру с коротким высоким пробором. Глаза молодого человека Рае Фаизовне не понравились, она нашла их слишком прилипчивыми.

Следом за Качкиным вошла Динара и, сказав: «Знакомьтесь», вывела всех из оцепенения. Начали двигаться, здороваться, представляться. Эрик Иманович быстренько удалился в спальню, одеваться. Вышел он оттуда уже в другой рубашке, не такой нарядной, зато глаженной. Рая Фаизовна заметила это и расценила как очередную личную победу над мужем. Разумеется, она сделала вид, что ничего не заметила, потому что полагала, что все ее семейные победы должны оставаться в тени. Полагала она так не из скромности, а из тактического соображения, что если свои победы держать в тени, то таким образом можно добиться еще больших побед.

Расположились в столовой, на диване и креслах, приступили к фразам малозначащим, но в таких случаях не обходимым. Еще до чая Рая Фаизовна успела узнать, что

Качкын — дипломник химического факультета, и кандидатскую диссертацию писать пока не собирается. Когда сели пить чай, Рая Фаизовна перешла к главному.

— Ну и какие у вас планы на будущее? — будто незначай спросила она у Качкына.

— Планы?.. — в это время он полностью соглашался с Эриком Имановичем в том, какая все-таки прекрасная пора — студенчество.

Запнувшись, Качкын зачем-то обвел взглядом полкомнаты:

— Планы... самые, так сказать, такие... то есть?

— Я хотела спросить, нет ли у вас с Динарой какого-нибудь секрета от нас? Не хотите ли вы нам что-нибудь сказать? Например, вроде того, что вы подали на днях заявление?

— Ах, вы про это, — Качкын скромно потупил глаза и улыбнулся. Улыбнулся ровно настолько, чтобы всем стало ясно, что он воспринял вопрос почти как шутку. Вообще, за разговором он улыбался много и всегда одинаково. Верхняя губа принужденно натягивалась, и над ней нависал нос, отчего улыбка получалась не то презрительной, не то смущенной. — Нет, еще нет, не подавали.

— Правильно, — сказал Эрик Иманович. — Шаг серьезный, с ним спешить нельзя.

Рая Фаизовна повернулась к мужу и, ничего не сказав, снова обратилась к Качкыну.

— Вот как? А я полагала, что вы знакомы достаточно давно и достаточно... близко. Вы понимаете, о чем говорю?

— Мама! — вспыхнула Динара.

— Что мама? Не одергивай меня, не надо, я в ваши дела не вмешиваюсь. Но у меня, как у матери, есть долг, и я хочу, чтобы вы знали мое мнение.

— Ты о чем, Раечка? — обеспокоился Эрик Иманович, заслышав, как накаляется голос его супруги.

— Так вот, — продолжала Рая Фаизовна, не обращая внимания на Эрика Имановича, — повторяю, в ваши дела я

вмешиваться не собираюсь, и лично вам, Качкын, я ничего не навязываю, но меня очень удивляет ваше... ваша медлительность в этом вопросе. Раз уж вы пришли сюда, вам не помешает кое-что выслушать...—Рая Фаизовна распалилась. Ее руки месили воздух частыми энергичными кружочками.

Сорванцы притихли, они с интересом ждали, что будет дальше. Динара молчала, упрямо поджав губы. Качкын был само недоумение. Он слушал:

— Меня беспокоит не только то, как вы сейчас живете, но и то, как вы собираетесь жить в будущем. Боюсь, что это будет так же безответственно, как и сейчас. Динара моя дочь, и я желаю ей всяческого добра. Я не знаю, Качкын, насколько вы сейчас представляете себе, что, когда у вас появится... семья, ребенок, то вместе с ними у вас появятся большие заботы. Вам надо будет кормить семью, вы должны будете много работать для нее, вы должны уже сейчас думать об этом. Вы сказали, что вы химик, представитель естественных наук, это очень хорошо, поэтому вам просто положено не витать в облаках, а оставаться реальным человеком. Так сказать, материалистом. Я думаю, вы согласны со мной?

— Да,— ответил Качкын,— но ведь... не вульгарным материалистом?..

— Что-о? — оторопела Рая Фаизовна. — Вы хотите сказать, что я вульгарна?!..

Никто не хотел этого сказать. Все молчали. В поисках защиты Рая Фаизовна посмотрела на Эрика Имановича. Эрик Иманович смотрел на дочь, та в свою очередь смотрела на Качкына. Минута была напряженная. Молодой человек спешно придумывал, как ему сказать, чтобы сгладить неловкость. Собственно, и придумывать было нечего, всего-то и требовалось вежливо, не вдаваясь в подробности, сообщить Рае Фаизовне о философском понятии, которое названо так потому-то и потому-то, и выразить сожаление, что оно, в своем неточном значении, неумышленно задело

уважаемую Раю Фаизовну... Однако, Качкын колебался: а надо ли сглаживать эту неловкость? И нельзя ли из нее что-нибудь извлечь. Он не хотел бы теперь ее сглаживать, то есть, хотел бы, но только под определенным, нужным ему, Качкыну, углом..

— Вульгаритэ! Вульгаритэ! — опомнились сорванцы. — А мы знаем, что это такое!

Никто из присутствующих не захотел узнать, что это такое. Прошло несколько секунд, прежде чем тишину нарушил Качкын.

— Вы меня не так поняли,— раздельно произнес он. — Всего-навсего я хотел сказать, что придерживаюсь других взглядов на вещи. Работать на семью? Конечно. Но вместе с тем не надо забывать, что все это,— он показал рукой на комнату,— дорогая мебель, одежда, квартира, все это вещи временные, сиюминутные, не представляющие из себя никакой духовной ценности. Лучше... м-м, лишний раз прочесть хорошую книгу, чем тратить силы, время и в конце концов жизнь в беготне за этим уютом. Который вам, Рая Фаизовна, к сожалению, наверное, представляется идеальным. Вы меня, конечно, извините, но я не мещанин..

— Так по-вашему, я еще и мещанка?! — с искренним воодушевлением возмутилась Рая Фаизовна. — Вульгарная мещанка! Эрик, что ты молчишь?

— Папа скажи ей, пусть она перестанет,— не выдержала Динара.

— Эрик, я прошу тебя! — настаивала Рая Фаизовна.

Эрик Иманович смотрел то на жену, то на дочь. Он мучительно не знал, что и кому ответить. Он готов был залезть под стол, лишь бы не разрывали надвое его мягкое сердце. От напряжения голова Эрика Имановича еще глубже осела в плечи, и весь вид его стал донельзя смирным, почти покаянным. Это его состояние продолжалось всего лишь миг, Эрик Иманович быстро опомнился и взял себя в свои феодальные руки. Это выразилось в том, что

он грозно откашлялся, насупилсь, упер свой взгляд прямо перед собой, в стол, и, нахохлившись, застыл.

— Если вы считаете, что я вас обидел, то я готов извиниться перед вами, Рая Фаизовна. — сказал Качкын вежливо-горьким тоном. — Простите меня за излишнюю, быть может, горячность, прямолинейность и, если хотите, честность. Но после того, что сейчас произошло, я вынужден буду покинуть вас, по крайней мере на сегодня. — Качкын встал. — Очень жаль, что в первую же встречу нам пришлось в некотором роде... поспорить. Но поскольку вопрос был совершенно принципиальный, я счел нужным прояснить его сразу, чтобы исключить между нами дальнейшие возможные недоразумения.

Рая Фаизовна не могла примириться с тем, чтобы последнее слово осталось не за ней.

— Вы слишком красиво говорите, молодой человек, — едко заметила она. — Верный признак того, что вы не способны ни на какие решительные действия.

Разумеется, и Качкын тоже не захотел, чтобы его речь так легко была сведена на нет.

— Решительные действия будут! — провозгласил он. — Будут, Рая Фаизовна, и очень скоро! — С этими словами он встал и вышел в коридор.

Динара кинулась за ним. Она была в коридоре всего секунду, потом опять появилась в столовой. С решимостью и странным, не своим спокойствием она посмотрела на всех, собираясь что-то сказать, но тут в тишине квартиры аккуртно захлопнулась входная дверь, и Динара выбежала снова, следом, за ним...

Газик остановился на обочине дороги. Кабину наполнила ватная, после ветра в ушах, тишина.

— Так значит это не он, — сказала Динара.

— Да, это мы, — гордо, как и положено джигиту, ответил Шаршен.

Динара заплакала:

— Растяпа! Обманщик! Философ несчастный...

— Теперь уже точно пропала любовь,— мрачно сказал Абды.

— Чья любовь? — вскинула голову Динара.

— Наша,— сказал Абды. А потом добавил: — И ваша.

— Нет, я так не согласна! — Динара вдруг перестала плакать. — Как это может пропасть любовь, когда мы с ним решили пожениться?

— Мы тоже решали жениться... — махнул рукой Абды.

— То вы, а то мы,— с вызовом сказала Динара. — Везите меня обратно.

— Хорошо,— сказал Шаршен. — Мы отвезем вас к нему. Но ведь он не джигит. Он даже не смог культурно, по-человечески украсть вас. Значит, он не любит вас.

— Нет, любит,— настаивала Динара. Ей тоже некуда было отступать. — Сами вы не джигиты. Справились с беззащитной девушкой. Если бы рядом был он, вам бы не поздоровилось. Если бы был он, вы просто струсили бы.

— Ах так! — Шаршен оказался задетым за живое. — Ладно, едем к нему. Мы скажем ему, что хотим украсть вас, то есть его невесту. Посмотрим, что он скажет. Если струсит он, а не мы, то вы станете нашей невестой. — Шаршен кивнул в сторону Абды. — Договорились?

— Договорились,— ответила Динара. Она поняла, что если хочет побыстрее вернуться домой, то должна согласиться.

— Везите меня к нему,— сказала она и назвала свой адрес, а не Качкына.

Прежде чем тронуть машину с места, молчаливый шофер просидел несколько мгновений в полной неподвижности. Казалось, он взвешивал все происходящие вокруг него события по какой-то своей, безошибочной мерке. Наконец, взвесив, он завел мотор и резко развернул машину.

Близился вечер, квартира Имановых наполнялась тревожными сумерками.

— Это из-за меня, это все из-за меня. — Эрик Иманович, волнуясь, ходил по комнате. На ходу он потирал руки и досадливо хмурился, то скрещивал руки на груди и озадаченно выпячивал нижнюю губу, то глубоко вздыхал, закинув назад голову, то вдруг останавливался лицом в угол комнаты и стоял так, не шевелясь.

Рая Фаизовна сидела здесь же, она еще и еще раз перелистывала записную книжку Динары.

— Нет, — сказала она наконец. — Ни телефона, ни адреса Качкина здесь нет.

— Что ж делать? — воскликнул Эрик Иманович.

— Это я должна у тебя спрашивать, что делать, — с раздражением ответила Рая Фаизовна, утомленная своим собственным волнением.

— А я не знаю, что делать! — громко, с нажимом, сказал Эрик Иманович. — Кто тут хозяин дома в конце концов?! — еще громче спросил он у своей супруги и мягко притопнул ногой. Твердо притопнуть у него никогда не получалось.

— Хоть бы в эту минуту ты пожалел меня, — дрогнувшим голосом сказала Рая Фаизовна. В ее глазах выступили слезы. — Ты совсем перестал понимать меня. — Она прикрыла лицо рукой и заплакала.

Рая Фаизовна знала, что эта картина всегда была выше сил Эрика Имановича. Слова «перестал понимать меня» отзывались в его сердце как «перестал любить меня». Душевные струны Эрика Имановича натягивались, и в одно мгновение, прежде чем он бросался к Рае Фаизовне с извинениями, в его памяти всплывали их совместные с Раей Фаизовной молодые годы.

Он студент-географ, она — на втором курсе финансового техникума. Возраст нерастрченных сил, возраст надежд и мечтаний, когда на все стороны раскинулась голубая неизвестность, и не понять, что уготовано там, за ней, уж непременно что-то незаурядное, красивое, романтическое. Эрик Иманович рассказывал маленькой черноглазой Раечке

о географии. Ах, как он рассказывал! Он щедро, на выбор, рассыпал перед ней названия далеких, жарких, экзотических стран, и уверял ее, что они обязательно побывают там вместе. Раечка смеялась, кокетливо-стыдливо нагнув голову, но слушала внимательно. Верила.

Годы шли, жаркие страны не становились ближе. Эрик Иманович стал школьным учителем географии, а Рая Фаизовна — инспектором централизованной бухгалтерии. И несмотря на то, что с годами Эрик Иманович стал считать, что в семье ему надо быть феодалом, а Рая Фаизовна стала считать, что она, как мать и жена, отдает семье все силы и не получает взамен никакой благодарности, — несмотря на все это, их супружеская жизнь протекала сравнительно спокойно и безмятежно.

В следующее мгновение, когда Эрик Иманович устремился к Рае Фаизовне с горячими извинениями, в дверь настойчиво позвонили.

Сорванцы побежали открывать дверь. Рая Фаизовна и Эрик Иманович невольно последовали за ними.

Дверь открылась, на пороге возник Качкын. Тишина в коридоре зазвенела с такой силой, что стала похожа на продолжительные аплодисменты. Осанка Качкына уже не была такой тщательно-благородной, как в первое посещение, напротив, Качкын старался выглядеть теперь как можно более развязным молодым человеком.

— Здравсьте, папаша, — сказал он неумело-хриплым голосом.

— А мы с вами уже здоровались, — тоненьким голоском заметила Мира, а может быть, Лира.

— Лишний раз не помешает, — ухмыльнулся Качкын и без приглашения переступил порог. Он думал: «Сейчас я им сделаю главу из Федора Михайловича...»

Рая Фаизовна многозначительно посмотрела на Эрика Имановича, как бы говоря: «Вот тот человек, который увез нашу дочь». Эрик Иманович понял, что минута наступила ответственная, его облик вдруг стал воинственным, грудь

выпяtilась, руки ушли немного назад, по всему было видно, что в эту минуту Эрик Иманович очень хорошо знает кем ему надо быть — феодалом! — но очень плохо представляет себе, что ему в этом случае следует делать и что говорить.

— Пожалуйста, проходите, Качкын,— сказала Рая Фаизовна с притворной, заискивающей вежливостью. — Что привело вас к нам?

— Да ничего! — ответил Качкын неестественно густым низким голосом. — Зашел сказать мамаше, что она крупно ошибалася насчет меня...

— То есть, как это? — на всякий случай перебил его Эрик Иманович.

— Я р-рыальный мужчина,— пробасил Качкын, по-прежнему обращаясь к Рае Фаизовне. — Ясно, мамаша?!

Рая Фаизовна еще раз многозначительно посмотрела на Эрика Имановича. Ее взгляд говорил: «слышишь, он уже называет нас отцом и матерью».

— Да-да, Качкын,— с той же вежливостью ответила она, стараясь не замечать перемены в поведении будущего зятя. — Теперь я знаю, что я была неправа. Извините меня.

— Вот так бы сразу! — С весомым, хамским ударением заключил Качкын. Начало визита одновременно и взбодрило и обескуражило Качкына. Взбодрило потому, что его тон был принят как вполне серьезный, ненаигранный. А обескуражило потому, что, как ни странно, никто не возмущался его поведением. Что бы он ни говорил, все воспринималось как должное. Качкыну ничего не оставалось делать как двигаться дальше по начатому пути.

— Короче,— сказал он. — Я вас понял, вам нужен... зять. Р-рыальный зять. Я согласный, но имею условие.

— Так значит, вы пришли ставить нам условия? — сказал Эрик Иманович, чтобы хоть что-то сказать.

— Вот именно,— прохрипел Качкын на пределе своих голосовых возможностей.

— Как мать, я готова на все, лишь бы моя дочь была

счастлива! — произнесла Рая Фаизовна голосом человека, готового на подвиг.

— Квартира для нас будет? — спросил у нее Качкын голосом человека, зовущего на подвиг. При этом он загнул палец на руке, словно открывая список своих условий. Он очень надеялся на то, что, по мере оглашения списка, он, как потенциальный зять, станет совершенно никому не нужным зятем.

— Будет! — приняла вызов Рая Фаизовна.

— Машина будет? — сурово загнул еще один палец Качкын.

— Будет! — бесстрашно откликнулась Рая Фаизовна.

— Дача будет?

— Будет! — высоким голосом великомученицы отозвалась Рая Фаизовна.

— Э-э-э... — растерялся Качкын. — Гарнитур будет?

— Будет!!

— А... цветной телевизор? — спросил Качкын, лихорадочно понимая, что шансов на спасение у него остается все меньше.

— Будет! — В голосе Раи Фаизовны зазвучали победные нотки.

— И костюм для меня... тоже будет? — упавшим голосом сказал Качкын.

— Конечно, будет! — безжалостно растоптала его надежды Рая Фаизовна. — Все будет, только скажите нам, пожалуйста, Качкын, где Динара?

Качкын никак не ожидал этого вопроса. Что скрывалось за этим вопросом, он не знал. Перед лицом неизвестности он был вынужден собрать в себе остаток душевных сил и опять войти в роль.

— Понятия не имею! — с наглым спокойствием ответил он.

— Не отпирайтесь, Качкын! — нашел что сказать Эрик Иманович.

— Динара сама позвонила нам и все сказала,— доверительно понижая голос, сообщила Рая Фаизовна.

— Что сказала? — отшатнулся Качкын.

— Что вы ее украли,— ответила Мира, а может быть, Лира.

Качкын хмыкнул громко и неопределенно. Такого оборота дела он никак не предвидел, тем не менее, отыскивая наилучший в его положении вариант, он решил не подавать вида, что это так.

— Ну и что? — сказал он, зевнув во весь рот.

— Так это сделали вы или не вы? Отвечайте! — опять заявил о себе Эрик Иманович.

— Ну, если вам так хочется..., то я могу сказать, что в известном смысле, в глубоко символическом смысле... — Качкын запнулся, сообразив, что опять, от волнения, сбивается со своей роли. — Короче, мамаша, я и не на такое способен. В натуре. Я и не такое могу задвинуть! Вы еще поплачете у меня! Я еще... еще... э-э-э... — Качкын не мог ничего придумать дальше.

— Если моя дочь согласилась бежать с вами, значит такова судьба,— отрешенно произнесла Рая Фаизовна. — Я знаю Динару, если она что-то решила, то ее не переубедишь. Пусть будет так. Как мать, я готова на любые жертвы, даже на гарнитур, лишь бы вы были счастливы!

При этих словах грудь Эрика Имановича выпятилась еще сильнее. Сорванцы притихли, с замиранием ожидая, что будет дальше. Качкын как-то незаметно, бочком, забился в угол коридора, с ясным сознанием того, что все пути назад ему отрезаны. Установилась напряженная пауза, поглотившая в себе всех присутствующих. Никто не замечал, что они до сих пор стоят в коридоре, не переходя в комнаты и не располагаясь поудобнее.

Именно в этот момент незакрытая входная дверь распахнулась и в коридоре появились те, кого так не хватало для полноты всеобщего лицедейства.

Столпившимся в коридоре понадобилась почти целая минута для того, чтобы в полной тишине обменяться удивленными взглядами.

Наконец, Динара торжественно провозгласила:

— Только очень хороший гарнитур, мама, сможет сделать нас счастливыми! — Очевидно, какое-то время Динара стояла за дверью, прислушиваясь к голосам в квартире.

— Это почему? — одновременно вырвалось у Раи Фаизовны и Эрика Имановича.

— Потому что меня украл не он, а они, — Динара показала на парней.

Рая Фаизовна мягко приложила к груди ладонь и покачнулась.

— Мы не хотели, — виновато сказал Абды. — Мы хотели культурно, чтобы любовь была.

— Измена! — воспрянул духом Качкын. — Измена!!

— Фактически настоящему джигиту невеста никогда не изменит! — выразил свое мнение Шаршен.

— Так ты выходишь замуж или нет? — нетерпеливо спросил у Динары Эрик Иманович, чувствуя, как в нем перекипают, не находя себе выхода, его феодальные силы.

— Выхожу! Или сейчас или никогда!

— За кого? — громким шепотом спросила Рая Фаизовна.

Динара медлила с ответом. Похоже, она и в самом деле не знала, за кого ей выходить замуж. А может быть, ей просто было приятно находиться в положении невесты, выбирающей себе большую любовь на всю жизнь, да еще при наличии гарнитура.

Все замолчали, ожидая ответа Динары. В коридоре установилась напряженная, почти скандальная тишина. Никто из присутствующих не знал, чего ему в следующий момент надо будет желать, кого из себя изображать и какими иллюзиями питаться.

Всеобщее незнание достигало такой степени, что могло возникнуть подозрение, что и сам автор написал этот сю-

жет только лишь потому, что ему хотелось показаться писателем. И, взявшись за этот сюжет, автор не знает, как его закончить.

Простите, знаю. Следует только добавить, что в наступившей тишине вдруг слышались слабые вибрирующие звуки: «ы-гы-гы-гы-гы...» Звуки были похожи на приглушенное конское ржание, они становились все громче и громче, и наконец все догадались, что это смеется молчаливый шофер.

ЭКЗАМЕНЫ

Наверное, у каждого из нас частенько, по несколько раз в день случаются бестолковые минуты. Неважно, где мы в те минуты находимся, — в кругу семьи, в потоке улицы, в зале собрания, в длинной очереди, в пустой комнате, — словом, там где от нас не требуется никаких активных действий, мы склонны впадать в одно очень странное состояние. Наш взгляд, ни на чем не сосредоточенный, скользит по поверхности предметов, наши мысли бессвязны, если вообще можно назвать мыслями простейшие, скучнейшие фиксации: «Вот стоит стул», «Вот едет машина», «Вот я иду по тротуару». Правомерно спросить, воспринимаем ли мы в те минуты самих себя? И если да, то в какой степени? Воспринимаем ли мы душевные процессы, которые, не остановившись окончательно, идут глубоко внутри нас, помимо нас, и передаются нам в смутных, неуловимых ощущениях? Или же ничего не воспринимаем? К сожалению, в точности об этом ничего неизвестно, кроме одного — длится такое состояние недолго. Стоит лишь потревожить нас случайной фразой, вроде: «Как жизнь молодая?», «Вам кусочком или нарезать?», «Много вас таких, грамотных!», и мы сразу придем в себя, станем такими, какие мы есть, и нам в голову не придет потом спросить, что же с нами

было. Об этом состоянии мы забываем, и правильно, поскольку оно не имеет для нашей реальной жизни никакого видимого значения. Действительно, о чем же помнить, о чем толковать, когда оно — как провал, как ничто, как сон с открытыми глазами, в котором ничего не снится.

Ранним утром Ташбеков стоял на троллейбусной остановке и ел сливы. Он захватил их целую горсть, когда выходил из дому. Какой-то малыш смотрел на него во все глаза. Ташбеков делал вид, что не замечает малыша и продолжал есть как ни в чем не бывало. Однако детский взгляд с навязчивостью случайного впечатления не выходил у Ташбекова из головы. Похоже, предполагал Ташбеков, малыш опечален тем, что слив ему не достается, и думает, что раз Ташбеков ест сливы — один и ни с кем не делится, то, значит, он никого не любит. А может, малыш сыт и просто фантазирует, к примеру, о том, как сливы исчезают у дяди во рту и там умирают. Подъехал троллейбус и, не дав Ташбекову предположить что-либо третье, повез его к университету, туда, где Ташбеков работал преподавателем и где должен был сегодня, первый раз в жизни, принимать у абитуриентов вступительные экзамены.

Когда отец узнал, что Ташбеков включен в состав приемной комиссии, он по-своему обрадовался и тут же сообразил, кого из многочисленных племянников, появившихся у него с некоторых пор, можно отправить поступать в университет. Примерно в одно и то же время старшие брат и сестра Ташбекова обзавелись семьями и разъехались по собственным квартирам. Со стариками остался только самый младший в семье — Ташбеков. Тогда-то вдруг и обнаружились у отца дальние племянники и племянницы, которые только-только начинали свои первые жизненные шаги и, оказывается, нуждались в его поддержке. Через дом Ташбековых прошло уже несколько ребят, строго говоря, и не совсем племянников, но отцу было достаточно того, что они выросли в том же селе, где родился и вырос он сам, где почти все приходится друг другу какими-то родст-

венниками, а если не родственниками, то такими близкими знакомыми, что от родственников их просто трудно отличить. Отец устраивал племянников в техникум, в училище, один раз даже в институт, помогал получить место в общежитии, а если это не удавалось, временно оставлял у себя дома. Разумеется, не на положении гостей. Основная часть домашней работы приходилась на племянников, которые в большинстве своем были работающими, и постепенно кое-кто из них, наиболее расторопных, прочно вошел в дом Ташбековых, и даже в чем-то стал ближе к старикам, чем сам Ташбеков. Как, например, Эрмек, живший у них около года... Именно его и надумал отец послать поступать в университет. Что касается Ташбекова, то отец считал нужным дать ему необходимые наставления по случаю начала его деятельности на новом поприще. Отец говорил, что пришло время и сыну думать и заботиться о своих родственниках, как это делают отец и старший брат, что такова хорошая давняя традиция, что племянники вырастут и станут той опорой, которая всегда и во всем поддержит, и так далее, и так далее. Ташбеков хотел возражать, он мог бы ответить, что прекрасно понимает, зачем вдруг отцу на старости лет понадобились племянники, что возможно, придет время, и самому Ташбекову понадобятся они, но, слава богу, не сейчас, и не надо ему их навязывать, не надо ими его поучать, не надо претендовать на авторитет, которого нет уже давно, хотя дело совершенно не в авторитете, а в том, что все равно до Ташбекова ничего не дойдет, так как, между прочим, он в этом глубоко убежден, — что каждый возраст мудр по-своему. Соответственно — и глуп тоже. Ташбеков не стал ввязываться в бесполезный разговор и, чтобы быстрее закончить его, согласился помочь Эрмеку.

Эрмек приходил вчера, но ближе к обеду, а с утра Ташбеков лежал у себя в комнате и смотрел в окно. В распахнутом окне сквозь листву был виден кусочек неба. По его пронзительной синеве Ташбеков заключил, что на небе нет ни одного облачка. Располагало одеться во что-нибудь

легкое, светлое и погулять не спеша в утренней прохладе деревьев. К мысли о прогулке Ташбеков примеривался и так и эдак, незаметно погружаясь в безразличное настроение, которое всегда принимали в нем за глубокую сосредоточенность и которое из всех, известных ему настроений, являлось, пожалуй, наиболее желанным. Мыслей не было, желаний тоже, был лишь кусочек неба в распахнутом окне. Когда в глазах Ташбекова приятно защипало, он подумал, что в конце концов лежать на кушетке и смотреть в окно тоже неплохо, главное, знать, что в любой момент можно выйти на улицу, а выходить не обязательно. Ташбеков вздохнул и закрыл глаза: «Знать, что можно выйти, и не выходить. Знание без движения, очень хорошо. Только слишком афористично. Во всяком афоризме можно найти замаскированную ерунду. Конечно, ерунда есть везде, но афоризм делает из нее конфетку. Странно, что от нее никогда не тошнит. А где же нет ерунды? Не знаю. Не знаю? А как же знание, которое без движения? Куда оно делось?.. Тыфу...» Ташбеков не помнил, сколько времени он пролежал, и не заметил, как подошла мать и тронула его за плечо. Она что-то проговорила, а он понял только, что надо идти в столовую и пить чай. Он сказал ей «ладно» и снова закрыл глаза. Но уснуть не смог, потому что начал слышать, и услышал, как неестественно сильно шелестят листья в распахнутом окне. Он удивился этому, прислушался, и только тогда понял, что это не шелест, а невнятный разговор за стеной. Кажется, пришел Эрмек, и все сидели сейчас в столовой, пили чай и разговаривали о деле. До Ташбекова доносились отдельные слова, они привлекали его внимание, приглашая восстановить по ним ход разговора, к которому, однако ж, несмотря на свое согласие, Ташбеков не хотел иметь абсолютно никакого отношения. Прежде чем начать о деле, отец, конечно, спрашивал у Эрмека: «Ну как твои дела?». «Хорошо дела», — отвечал, наверное, тот. «А с квартирой как, все в порядке?» — спрашивал отец. «Да, все в порядке, спасибо вам», — говорил,

наверное, Эрмек, вежливо умалчивая о том, что с квартирой он устроился полгода назад, и что с тех пор отец переспрашивал о ней уж несколько раз. В свою очередь и Эрмек, наверное, задавал отцу неизменный вопрос: «Как ваше самочувствие?». «Спасибо, потихоньку», — вероятно, отвечал отец. При этом насущность вопроса наполняла его задумчивым, насупленным достоинством. «Ну и правильно», — с облегченной улыбкой говорил, наверное, Эрмек. «Что-что?» — не расслышал, может быть, отец, увлекшись своей мыслью. «Ну и правильно», — с готовностью повторил бы Эрмек, причем повторил бы не только слова, но и улыбку, и выражение облегчения, написанное на лице. И, наверное, уже не имело никакого значения, что из них сказал следующую непременно фразу: «Жарко сегодня!» Ее мог сказать и Эрмек, и отец, и не столь уж важная сама по себе, она изумила бы своей независимостью от места появления и показала бы, что оба говоривших достигли той крайней степени общности, которая так необходима во всяком полюбовном деле.

За стеной вдруг затихло. Будто бы и впрямь достигнутая общность потребовала для себя минутного молчания. Ташбеков подумал — ждут его, — деваться было некуда, он встал, заправил выбившуюся рубашку, пригладил волосы и, все еще сонный, пошел в столовую. Вернее, к столовой, потому что до последнего момента надеялся, что каким-то неведомым образом его пронесет мимо нее, мимо их разговора, в котором он, неизвестно отчего, не хотел принимать участия. Может быть, от того, что в столовой не интересовались тем, что кроется под их взаимным расположением, не искали каких-то определенных или не очень определенных целей, не допускали, например, что одному из них просто хочется хорошо пожить, а другому — погуще обставить чужими жизнями остаток своей собственной жизни и хорошо, не страшно, умереть. Ташбеков дошел до столовой и осторожно заглянул туда. Оттуда тоже взглянули. Все трое как будто чего-то выжидали. Наконец Ташбе-

ков сказал: «Я сейчас» — и пошел по коридору дальше, будто бы к туалету, дверь которого была совсем рядом с входной дверью. Возле вешалки Ташбеков снял домашние тапочки, надел сандалии и, путаясь в дверях, выскользнул в подъезд. Он делал все это по возможности тихо, но в столовой не услышали бы все равно, потому что там зазвонил телефон. Ташбеков успел уловить, как разговаривал по телефону отец, и понял, что разговаривал он со своей двоюродной сестрой. Она тоже, по всей вероятности, узнала про Ташбекова и хотела обсудить с ним свое, не менее важное дело. Ташбеков уходил медленно, но не из-за тетки, а из-за того, что он не знал, правдивы ли друг перед другом отец и Эрмек, или они догадываются о взаимном расчете, а если даже и догадываются, все равно, возможна ли душевность их отношений, и если да, то как ее себе представить. К тому же Ташбеков не знал, куда идти, и уйдет ли он куда-нибудь вообще.

Все это было вчера. Сегодня утром, выйдя из троллейбуса, Ташбеков пошел к университету по длинной центральной аллее. Белоколонный фасад университета был виден издалека и среди яркой зелени смотрелся очень красиво. Вход для преподавателей находился с противоположной северной стороны, и Ташбекову пришлось обходить университетский корпус вокруг. Когда Ташбеков обогнул его так, что мог уже видеть северный вход, он одновременно увидел, как правее, метрах в пятидесяти от него, спешит на экзамен многодетный Момышев, а дальше, от другого угла, заложив руки за спину, ступает мелкими шажками престарелый Каимов.

Момышев жил в пяти минутах ходьбы от университета и, может быть, поэтому, имел обыкновение опаздывать на работу. Сегодня утром он опаздывал потому, что, собираясь на экзамен, никак не мог найти свою авторучку. Сначала он не мог вспомнить, куда он ее положил, но потом

вспомнил, что отдал ее вчера четырехлетнему Касымчику. Значит, она лежала где-нибудь в детской, однако, искать ее там, где сейчас спали дети, и где в беспорядке валялись игрушки, книги, бумаги, одежда, пластинки и опять игрушки — было вполне безнадежно. Момышев мысленно обругал Касымчика и, дав жене, накормившей его завтраком, поцеловать себя, побежал в университет.

Вчера утром Момышев брился в ванной, прикидывая, что в свободный день он наконец-то сможет посидеть над диссертацией. В этот момент он услышал вопль Сапарчика. Бросив бритву, Момышев поспешил на место происшествия. На полу, в детской, были разбросаны новенькие тетради и фломастеры Сапарчика, купленные ему для следующего учебного года. Несчастный Сапарчик, плача в голос, собирал остатки своего добра: почти все тетради были исчерканы каракулями. Ему пытался мешать виновник беспорядка — Касымчик, который тоже, на всякий случай, громко хныкал, готовый в любой момент разреветься. Оба они вырывали друг у друга измятую тетрадку, Сапарчик взвизгивал от негодования, но ударить Касымчика не решался, хотя очень-очень этого желал. Касымчик был самый младший и самый любимый, папа запрещал обижать его, поэтому Сапарчик, схватившись одной рукой за тетрадку, другой неистово молотил воздух возле Касымчика, воображая, что бьет его на самом деле. Старшая дочка стояла рядом, она прибежала вместе с Момышевым и так же, как и он, строго смотрела на братьев. «Всегда они так, всегда они так», — говорила она. «А ну, прекратите!» — сказал Момышев, не зная, что им сказать еще. На секунду стало тихо. Общим замешательством воспользовался Касымчик, он вырвал у Сапарчика тетрадку и жалобно захныкал. Сапарчик закричал с новой силой, затопал ногами и вдруг убежал. Однако ж быстро вернувшись, он принес мухобойку и, всхлипывая, отдал ее Момышеву, очевидно, приглашая его наказать Касымчика. Машинально Момышев взял мухобойку и, ничего не говоря, начал смотреть на Касымчи-

ка. Момышеву вдруг стало любопытно понаблюдать, как повели бы себя дальше эти два человечка перед столь веским зрителем, каким является для них он. Касымчик заревел. То ли он решил, что сейчас его начнут наказывать, то ли испугался странного взгляда отца, во всяком случае его рев заставил Момышева еще раз сказать «прекратите!» и кончить дело тем, что дать Сапарчику мелочь на новые тетради и на мороженое, а Касымчику — исчерканные тетради и свою авторучку.

Добравшись и легко позавтракав, Момышев пошел, наконец, в спальню, сидеть над диссертацией. Ее он писал не первый год, а до завершения работы было еще далеко. И не потому, что это был капитальный труд, — собственно диссертация его не слишком интересовала, он писал ее под влиянием жены, вдохновляемый ее честолюбивыми соображениями, которые формулировались понятиями не столько научными, сколько доступно-житейскими. Сначала Момышев сопротивлялся, отказывался, но потом понял, что писание диссертации можно превратить в спокойное времяпрепровождение, в своего рода отдых от семейной суеты, когда жена не разрешает детям шуметь, а он, запершись в спальне, что-то там пишет, а если надоест — похаживает по комнате или смотрит с четвертого этажа в окно. Вчера, например, Момышев рассматривал тополь, который рос перед домом, верхними ветками поднимаясь выше окна. Взгляд Момышева перебегал с ветки на ветку и устремлялся вниз с возрастающей быстротой. Момышев думал о том, что если бы тополь рядом не рос, то нельзя было бы так сильно ощутить глубину четырехэтажного пространства. Потом Момышев снова сел за стол и снова что-то писал, пока вдруг ему не пришло в голову проверить, чисто ли он побрился. Он посмотрел на себя в зеркало — оказалось вроде бы ничего, даже несмотря на то, что ему пришлось прерваться из-за сыновей. Момышев сделал строгое лицо, пробуя восстановить, как он перед ними выглядел. Лицо получалось или слишком для того момента мрач-

ным или снисходительно-равнодушным. Момышев никак не мог согласиться с тем, что он выходил к детям с таким видом, поэтому он сделал еще одно усилие и попытался вспомнить, что он тогда чувствовал. Но ничего определенного не вспоминалось, как будто тогда он не чувствовал ничего. Кроме, разве что, одного: когда он стоял перед Касымчиком с мухобойкой, выбритую щеку пощипывало, а другую, еще не побритую, стягивало подсыхающим мылом. Момышев отставил зеркало и снова принялся за работу. Вообще он мог отрываться от работы много раз, по самым различным поводам, но конец всегда был один — устав до такой степени, что ни одна мысль уже не приходила ему в голову, Момышев ложился на кровать и начинал разглядывать потолок. Вскоре он засыпал, укоряя себя за то, что опять слишком мало продвинулся в диссертации.

Вчера Момышев был бесцеремонно разбужен. Никто в семье не смел так его будить, даже Касымчик, и Момышев, еще не вполне проснувшись, понял, что это пришел Асанбай. Жена и дочка, слегка обеспокоенные, стояли на пороге спальни и смотрели, как Асанбай трясет Момышева за плечо. «Спит! Смотрите, спит!» — смеялся Асанбай, будто бы говорил и делал что-то очень смешное. Жена и дочка растерянно улыбались, когда он поворачивался в их сторону, приглашая посмеяться вместе с ним. Асанбай однажды будил так Момышева, на что Момышев имел случай заметить, что очень не любит, когда его будят, и что вообще нелепо будить без нужды человека и навязывать ему свое идиотски-бодрствующее состояние. Но Асанбай жил слишком широко, чтобы помнить о таких мелочах. Друг Момышева со студенческих лет, он приходил неожиданно, шикарно и шумно. Он работал где-то в туристическом бюро, был всегда при деньгах, и обязательно приносил с собой как минимум бутылку коньяка и коробку шоколадных конфет. Он любил хорошо одеться, и вчера, несмотря на жаркий день, пришел в пиджаке и при галстуке. Визиты Асанбая

вносили приятное разнообразие в монотонную жизнь Момышева, но не нравились Момышеву тем, что в них ему виделась какая-то нехорошая обдуманность и деловитость. И не без оснований. Такая была у Момышева должность и таков был Асанбай, что без деловых просьб у них обходилось редко. Просил Асанбай всегда перед уходом, уже одеваясь в коридоре, как бы случайно, как бы вдруг вспомнив о несостоящем пустяке. Но Момышев чувствовал, что для Асанбая это совсем не пустяк, а цель визита, потому что Асанбай в последние минуты их трогательных расставаний смотрел на Момышева так испытывающе, как будто проверял на прочность эту неразрывную дружбу. И хотя каждый раз Момышев соглашался эту дружбу крепить, его отношение к Асанбаю было далеко не однозначным. Заочно Момышев думал о нем плохо, причислял к энергичным, хитрым пронырам, но как только они встречались и, более того, встречались глазами, Момышев невольно менял о нем свое мнение. Тут действовало какое-то внушение. Взять хотя бы то, что иногда Асанбай приходил со своими друзьями, почти каждый раз новыми, иногда с женой, иногда и без нее, но неизменно, когда дело доходило до тостов, он вставал и говорил, что видит за этим столом самых дорогих, самых близких ему людей. Кто бы за столом не сидел, Момышев смотрел при этом на Асанбая, на его мясистое розовое лицо, розовые уши, на его вытаращенные для пущей убедительности глаза, и чувствовал себя рядом с ним слабее, как-то безличнее, и, понимая его краснобайскую ложь, ни на секунду не веря ей, был склонен с удовольствием слушать ее и снисходительно улыбаться.

Разбуженный вчера Асанбаем, Момышев умывался со сна и думал, что раз уж Асанбай пришел, то ничего не поделаешь, настраивайся на Асанбая. Умение радоваться тому, что есть, убеждал себя Момышев, — очень редкое свойство характера, равносильное таланту. Когда он вошел в комнату, на столе уже стояла наскоро приготовленная женой закуска и неизменный асанбаевский набор: коньяк и

конфеты. Асанбай был в комнате один и, важничая перед самим собой, расхаживал туда-сюда. «Ну как?» — почти одновременно спросили они друг друга. После чего ненадолго замолчали. Эта была единственная заминка в тот день, все дальнейшее покатилось легко и быстро. Под закуску одолели коньяк, а когда подоспело горячее, жена достала припасенную на всякий случай бутылку водки. Стало жарко. Открыли балкон, окна же задернули шторами, чтобы не било в глаза садившееся солнце. Комната окрасилась горяще-оранжевым цветом. Асанбай смешил всех, он рассказывал страшный случай, как недавно, посреди ночи, к нему в квартиру настойчиво позвонили. В одних трусах, испуганный, он пошел открывать, но открыл не сразу, а спросил сначала, кто там. Из-за двери слабым, охрипшим голосом сказали: «Твой друг». Поколебавшись, Асанбай решил все-таки открыть. И кого же он там увидел? — Асанбай сделал интригующую паузу... — соседа по лестничной площадке, с которым они даже и не здоровались, кандидата наук и распоследнего алкаша! «Друг» корчил многозначительные гримасы и что-то там бормотал. Оказывается, ему нужны были двадцать копеек, на пиво, желательно сейчас же, потому что ему совесть не позволит будить хороших людей во второй раз. Пришлось показать ему «друга», как говорится не отходя от кассы. Пришлось выбить ему чек на эти двадцать копеек сначала правой рукой, а потом левой ногой, чтоб знал, как пугать по ночам хороших людей. Асанбай рассказывал, смешно изображая и себя, и соседа. Все смеялись. Потом Асанбай начал петь, упросив дочку Момышева подыграть ему на пианино. У Асанбая был крепкий застольный голос. Из детской пришел полюбопытствовать Касымчик, Асанбай поцеловал его мокрыми губами в лобик и дал ему конфетку. Затем спросил, может ли Касымчик станцевать им что-нибудь. Если да, то дядя Асанбай даст ему еще одну конфетку. Касымчик засунул конфету за щеку и, недолго думая, начал выплясывать модный шейк, которому научила его сестра.

Она в это время помогала ему, играя на пианино и одоб- рительно смеясь. Жена Момышева тоже улыбалась и хло- пала в ладоши в такт движениям Касымчика. Асанбай хлопал вместе с ней и пел. Момышев, покачиваясь на сту- ле, наслаждался горяще-оранжевым весельем в своей квар- тире. Он старался ни о чем не думать, однако совсем не ду- мать никак не получалось, можно было лишь не формули- ровать мысли конкретно, но в целом они так или иначе чувствовались. Если б Момышев дал им волю, ему сразу бросилось бы в глаза, что жена, раскрасневшаяся от двух- трех рюмок, улыбается слишком откровенно, что дочка слишком громко, невоспитанно смеется, и к тому же черес- чур складно сыгралась с Асанбаем. Что Касымчик чрезмер- но усердствует, надеясь заполучить еще одну конфетку. Но унижительнее всего было бы сознавать причину асанбаев- ского прихода. Неужели ради того, чтобы Момышеву смог- ли широко и красиво всучить эту мелкую просьбу, неужели сам Момышев и вся его семья должны так глупо, так ма- рионеточно веселиться? А если он не хочет всего этого? А если он хочет спать? Или, во всяком случае, прекратить одним махом это жаркое, бездумное веселье? Ведь ему лишь стоит чуть наклониться вперед, дотянуться до пустой, сверкающей бутылки и, возжелав ее звонких дребезгов, запустить ею... в кого?— в Асанбая? в гроыхающее пи- анино? в горящее солнце, бьющее прямо в зрачок?!

Но Момышев не давал себе воли. Тем более, из-за та- кой мелочи. Он решил, что выполнит все, что попросит Асанбай, выполнит безупречно, даже несмотря на то, что видит насквозь его мелкий расчет, но зато потом у Момы- шева будут все основания тихо, но от души презирать Асан- бая, презирать и ставить ниже себя. Момышев склонился к Асанбаю и рассмеялся над его ухом. «Ты хочешь мне что- то сказать?» — спросил Асанбай, кончив петь. «Нет, ниче- го», — сквозь смех ответил Момышев. — Молодец, что при- шел. Мы все тебе очень рады...»

Когда Асанбай засобирался домой, Момышев возражал

ему только для видимости. Все вышли в коридор. Асанбай начал со всеми прощаться, с Касымчиком, с дочкой, с женой и, наконец, с самим Момышевым, внимательно следившим за ним в эти последние минуты. Прощаясь, они просили друг друга почаще заходить и... случайно встретились глазами. «Слушай»,— неожиданно серьезным тоном сказал Асанбай. «Да»,— отозвался Момышев тоже изменившимся, ватным голосом. Стало тихо. Момышев ждал. Асанбай испытующе смотрел.

— Я виноват перед тобой...— все так же серьезно сказал Асанбай. — Когда я пришел, я тебя разбудил.

— Ну что ты,— ответил Момышев. — Пустяки.

— Нет,— продолжал Асанбай. — Я хочу исправить свою ошибку. Идем, я уложу тебя спать!

И первым же рассмеявшись своей шутке, он решительно вышел и захлопнул за собой дверь.

Момышев ждал Асанбая минуты две. Безуспешно. Ничего не произошло. Наконец Момышев подумал, что ему и в самом деле лучше лечь спать. Он пошел было в спальню, как вдруг в коридоре зазвонил телефон. Момышев взял трубку и узнал по голосу близкую знакомую жены, которая тоже бывала у них в гостях. В трубке дребезжало, а Момышев молчал, припоминая, что у знакомой, кажется, есть взрослая дочка, будущее которой, вероятно, немислимо без стен университета. Наконец, знакомая спросила, квартира ли это Момышевых, или она не туда попала. «Да, вы не туда попали»,— ответил Момышев. — Это отделение милиции». Он положил трубку и на удивленный взгляд жены устало сказал: «Надоело все». Он пошел в спальню, разделся, но лечь не успел. Вбежал Касымчик и щелкнул в него пару раз пластмассовым пистолетом. Момышев рухнул на кровать, с удовольствием изображая убитого.

Сегодня утром, после пяти минут ходьбы, Момышев увидел северный вход университета. К входу еще подходили люди, и значит, подумал Момышев, можно было не очень-то торопиться. Когда же он увидел слева от себя

Ташбекова, а справа — Каимова, совсем никуда не спешивших, он тем более замедлил шаг и стал идти так же, как и они.

От автобусной остановки Каимов шел к университету не напрямик, а в обход, по соседним улочкам, чистым и тихим. Домики с палисадниками, с вишнями во дворе, с почтовыми ящиками на калитках, стояли в тесном и смирном ряду. Вдоль узких тротуаров стеной росли пирамидальные тополя. С перекрестков, где тополя расступались, открывался вид на далекие горы, у которых, казалось, хватало природной силы донести до этих улочек частицу своей тишины и спокойствия. Каимов шел не спеша, наслаждаясь неутомительной ходьбой, и тем, что никто не мешал ему в этой ходьбе, как и во всех прочих приятных действиях этого утра. Отчего ж оно выдалось таким приятным? Не оттого ли, что проснулся Каимов рано и хорошо? Вернее, не проснулся, а неслышно вышел из какого-то незапомнившегося сна, так неслышно, что не понял, когда это произошло. Последнее время с ним такое случалось: почему-то стало трудно различать, где сон, а где свои собственные мысли. Каждое такое пробуждение немножко сбивало Каимова с толку, и вместе с тем удивляло, как если бы ему показывали какой-то затейливый фокус. Каимов лежал и представлял себе, как сейчас встанет, наденет шлепанцы, пойдет в ванную, умоется и тщательно побреется. В завершение маленьких удовольствий он наденет свежую рубашку, и как она будет легко сидеть на его чистом теле.

А может быть, утро выдалось таким приятным потому, что два дня назад, когда он узнал, что включен в приемную комиссию, многолетний опыт подсказал ему отключить дома телефон и на следующее утро, очень рано, уехать на дачу. Впрочем, тот же опыт подсказывал ему, что принятые меры не ограждают его полностью от нежелательных встреч. Его могли найти и на даче. К тому же, на памяти у

Каимова был кто-то, кому он весной обещал помочь, но кто именно — он никак не мог вспомнить. Можно было спросить у жены, но Каимов не решался этого сделать, вдруг бы выяснилось, что это тот человек, пройти мимо которого, отказать которому или неудобно, или просто нельзя. Сорвался бы побег на дачу. Вроде бы мелочь, мало ли о чем мог забыть Каимов в свои-то годы, но в тоже время он находился в таком спокойном течении жизни, когда каждая мелочь может приобрести значение едва ли не основополагающее. Весь позавчерашний вечер Каимов мучился: спросить или не спросить? Сначала он хотел молчать и ничего не спрашивать, но выходило как-то неловко, будто бы он трусил. Через полчаса он подумал, лучше было бы все-таки спросить, но сделать это перед самым отъездом на дачу, между прочим, когда, например, они уже сядут в машину. Потом он отбросил и этот вариант, сообразив, что, во-первых, в машине будет сидеть сын, который повезет их на дачу, и он-то наверняка что-нибудь припомнит; во-вторых, что еще честнее будет спросить у жены сейчас же, вечером, возложив всю надежду и всю ответственность на ее женскую интуицию. Он не ошибся! Жена сказала, что не помнит, кому бы он мог обещать. У Каимова отлегло от сердца. Он даже не стал вникать, забыла ли она на самом деле или, уловив некоторую натянутость в его вопросе, сочла нужным скрыть.

Но уже на следующий день, на даче, радость Каимова прошла, и он забеспокоился, что его могут найти и здесь. Он старался как-нибудь отвлечься, снял сандалии, носки и начал ходить босиком. Попробовал ходить по специальной газонной травке, которой в этот сезон он засеял площадку два на два метра. Было приятно, но, к сожалению, трава мялась, и он оставил это занятие. Он пошел туда, где у него были посажены помидоры. Там действительно поспевали два симпатичных помидорчика, в прошлый приезд они были желтыми, а теперь на удивление, без чьего-либо вмешательства, стали вполне красными. Каимов не сразу

сорвал их, а сначала поразмышлял о том, как правильно ему удалось соблюсти законы природы, в сущности, очень простые — вовремя посадить, полить и оставить в покое. Но больше всего Каимов растрогало то, что на таких вот необъяснимо-простых законах, оказывается, и держится вся обозримая жизнь. Затем Каимов сорвал помидоры и пошел показать их жене. Она не стала думать и рассуждать, а просто помыла их и предложила Каимову. Он съел одну штуку и, таким образом подкрепившись, пошел спиливать засохшую яблоню. Пила оказалась тупой, пилить пришлось долго, в конце концов он поцарапался, устал и вспотел. Рубашка на нем намокла и стала пахнуть, как пахнет его собственное тело. Когда-то, очень давно, Каимов ехал в кузове открытого грузовика мимо мясокомбината. Тогда тоже стояло лето, и ветер донес до Каимова вонь разлагающейся убоины. Так пахло от его бабушки, когда в детстве он играл у нее на коленях. Но в детстве запах был не такой ощутимый, и не такой страшный, потому что Каимов не знал еще, что так пахнут отмершие ткани. Каимову отлично запомнился мясокомбинат, как позже запомнился год, когда он впервые почувствовал, что так начинает пахнуть от него самого. Вчера, на даче, было жарко, и запах этот был очень силен. Каимов давно привык к нему, точнее, не к нему, а к его присутствию, и если слышал его, то думал не более, чем о теплом душе. На даче душ с солнечным нагревом, но вчера в нем не было воды. Каимов обнаружил это уже после того, как рубашка на нем стала мокрой. Он стоял около душа и прикидывал, поднимется ли он по шаткой лестнице с полным ведром, или это будет для него тяжеловато. В крайнем случае он мог бы потерпеть и без душа, но не хотел, чтобы жена узнала, что в душе нет воды. Иначе досталось бы от нее сыну, который привез их сюда и быстро уехал обратно по своим делам, так и не посмотрев, есть ли в душе вода. Каимов не хотел, не смог освежиться. Во-первых, это было бы почти что-бы жена отчитывала сына из-за того, что его отец

смешно, а во-вторых, и это самое главное, Каимов имел на этот счет свою особую точку зрения: дети теперь самостоятельные, живут отдельно, и не надо цепляться за их жизнь, вмешиваться в нее, не надо требовать от них той кровной заботы, какую когда-то они получали от родителей. Свою заботу дети отдают не родителям, а опять же, своим детям, и если при этом у них останется время на стариков, то, конечно, в этом нет ничего плохого, но требовать этого от них — никак нельзя. Жена не соглашалась с ним, и он не настаивал, понимая, что женщине трудно, невозможно отстраниться от своих детей. Правда, опека жены по отношению к детям и к нему самому, с годами обмельчавшая, иногда раздражала его, он сердился и начинал думать, что есть, наверное, два типа женщин: те, с которыми хорошо жить (например, его жена), и те, с которыми хорошо умирать. Поостыв немного, он склонялся к мысли, что если с какой-нибудь женщиной хорошо жить (например, его жена), то с ней же хорошо и умирать. А впрочем, тут же отмечал Каимов, какая бы женщина ни была, в любом случае надо иметь мужество, мужество старости; оно, к сожалению, дано не всем, и когда его не хватает, вот тогда-то и начинаются всякого рода требования и претензии к детям. Каимов считал, что такое мужество у него есть, поэтому он решил, что потихоньку от жены сам нальет воду в душ. Он взял ведро, но прежде чем идти к колонке, осторожно посмотрел, что делала без него жена. Он увидел ее в кустах малины, она собирала в тарелку поздние, редкие ягоды и... плакала. Отчего? Может быть, ягоды, потемневшие и сморщенные, лишний раз подсказывали ей, какой она теперь стала? Или она плакала от того, что ягод не собирает ей муж, и больше того, что она никак не может вспомнить, чтобы он когда-нибудь их ей собирал? С минуту Каимов не знал, что делать. Но не дольше. Он не стал подходить к жене и, верный своему намерению, удалился за водой.

Вернулся Каимов благополучно, с полным ведром, жена

еще не хватилась его, и он, после короткой передышки, начал подниматься с ведром по лесенке. Он поднялся всего на одну треть, как вдруг в его глазах потемнело. Он едва нашел в себе силы спуститься обратно и поставить ведро на землю. В ушах Каимова слегка позванивало, его открытые глаза ничего не видели, кроме кругов, сначала плотно-фиолетовых, а потом полупрозрачно-разноцветных. Каимов нащупал ступеньку, сел на нее и стал ждать, когда это пройдет. Такое с ним бывало.

— Здравствуйте,— слышался незнакомый голос.

— Здравствуйте,— ответил Каимов, еще не зная кому. Он слышал себя как будто издалека.

— Вы будете Каимов Нияз Каимович? — сквозь исчезающие круги стал виден не по-дачному одетый человек.

— Я?..— Каимов встревоженно замолчал. Человек показался ему подозрительным. Внутри у Каимова что-то затрепетало, тревожно решая, выдавать себя или нет. На его лице в это время растягивалась долгая, ласковая улыбка.

— Нет,— наконец, сказал он.

— То есть как, нет?..— опешил человек. — А кто же вы?

— Я?.. Не знаю. То есть, не помню. Кажется, помидор,— простодушно ответил Каимов.

— Неужели? — изумился человек. — И что же вы здесь делаете?

— Выполняю законы природы. Вовремя посадить, полить и оставить в покое. На них, между прочим, вся наша жизнь держится.

— М-да-а...— задумался человек. — Так значит, вы не Нияз Каимович?— он позволил себе усомниться еще раз.

— К сожалению, нет,— ответил Каимов, довольный своей неуязвимостью. Впрочем, он не терял бдительности, и был готов к любым новым подвохам незнакомца. И правильно делал, поскольку подвохи, как он в этом убедился, не замедлили сказаться.

— Надо же, какая досада,— сказал человек. — А я хо-

тел вам помочь. Вижу, вам с ведром тяжело, вот подошел.

— Спасибо,— вставил Каимов, нисколько не веря его словам.

— Вы бы поберегли себя, отдохнули,— продолжал человек. — Все-таки в вашем возрасте тяжести поднимать не следует.

Только из вежливости Каимов не фыркнул, настолько неправдоподобно это для него звучало.

— Вообще, я давно собирался к вам зайти,— говорил человек. — Мы ведь соседи, вон моя дача, рядом... Спросить хотел. У вас там трава посеяна, газонная. Где вы достали семена?

Ну уж эти слова были чистой фантастикой, не знающей никаких пределов. Стерпеть ее Каимов никак не мог.

— Знаете что,— сказал он.

— Что?

— Большое вам спасибо.

— И вам также. А за что?

— Этого я тоже не знаю,— все с тем же простодушием сказал Каимов. — До свидания.

— До свидания,— вздохнул человек и протянул Каимову руку.

— У меня же нет рук,— напомнил Каимов. — Вы что, не видите?

— Ах, да... — смутился человек. — Вы же этот самый...

Неловко повернувшись, человек пошел на свой участок. Когда он скрылся из виду, Каимов попробовал встать. К его радости, цветных кругов в глазах больше не было. И вообще весь дальнейший день прошел незаметно и хорошо. На дачу, слава богу, больше никто не приезжал, и с первыми сумерками Каимов с женой благополучно вернулись в город. Перед сном Каимов принял душ.

Сегодня утром, приближаясь к северному входу университета, Каимов увидел не только Момышева, не только Ташбекова, но еще, возле самого входа, какого-то челове-

ка. Кто это был, мужчина или женщина, Каимов разобратить не мог, он находился слишком далеко, но уже одно то, что это был какой-то человек, который стоял у входа, видимо, кого-то ждал, заставило Каимова вновь начать что-то лихорадочно припоминать. Человек еще не заметил Каимова, хотя в любой момент мог повернуться в его сторону, и, чтобы упредить этот момент, Каимов невольно потупил глаза.

Северный вход университета был просто дверью, открытой внутрь, ее черный проем издали выделялся на бледно-голубой стене. Вокруг двери полукругом стояли учебные столы, загораживавшие проход посторонним. Только в одном месте, в середине, был оставлен проход для преподавателей, возле него стояли и сидели на столах несколько студентов с повязками на руках. Один из них курил. Дымок сигареты вился на солнце, лучи которого падали так, что бледно-голубая стена и два-три метра земли около нее оставались в тени.

У столов, под солнцем, стояла женщина. С ней была девушка, судя по внешности, ее дочь. Женщина кого-то ждала, внимательно выискивая глазами нужного ей человека. К входу подходили с разных сторон, и следить за подходившими ей было трудно. В добавок, ее беспокоил сигаретный дым, и она неодобрительно поглядывала на курившего студента. Он тоже смотрел на нее, очевидно, догадываясь, зачем она здесь стоит. Предполагаемое знание прибавляло его взгляду уверенности. Кроме этого, студент поглядывал и на девушку. Та, в свою очередь, заметила, что он смотрит на них, причем смотрит по-разному, ей было неловко от этого, так же как и женщине, которой тоже было неприятно, что он смотрит на них обеих и, наверное, делает сравнение не в ее пользу. И женщина и ее дочь старались не смотреть друг на друга.

Наконец, женщина увидела Ташбекова, своего двоюродного племянника, к которому она вчера не могла дозво-

ниться. Ташбеков шел, и расстояние до него было не таким уж большим; но он еще не заметил ее, хотя посмотреть в ее сторону и заметить было бы для него очень естественным, ведь она стояла там, куда он как раз направлялся. Однако Ташбеков, как показалось женщине, упорно смотрел куда-то в сторону, она решила посмотреть туда же. Прямо на нее шел Момышев. К нему она тоже вчера не могла позвонить. Женщина заволновалась. По крайней мере одного из них она рассчитывала встретить сейчас, но не обоих же сразу, к кому же теперь идти? К Момышеву? Но и он, будто сговорившись с Ташбековым, смотрел куда-то в сторону. Куда? Предчувствуя нехорошее, женщина последовала глазами за взглядом Момышева. Так и есть! Там шел Каимов. Его глубоко запавшие глаза смотрели непонятно куда, будто бы сквозь нее, за нее, смотрели туда, где, по всей вероятности, шел Ташбеков. Женщина обернулась назад. Ташбеков был теперь ближе, и она успела заметить, что мгновением раньше он смотрел на нее, а теперь — опять на Момышева. Впрочем, она не поручилась бы за это с уверенностью, ведь это было целое мгновение назад, и потом, с какой стати ее племянник вдруг должен смотреть именно на Момышева. Действительно, с какой? Женщина повернулась к Момышеву. И опять ей показалось, что только что Момышев отвел от нее взгляд, и опять — в сторону. Она не удивилась уже, когда то же самое заметила за Каимовым, да и удивляться ей было некогда, а надо было решить, к кому же из них в конце концов подойти. Женщина смотрела то на одного, то на другого, то на третьего, все трое были уже совсем близко, уже в нескольких шагах, так что не узнать ее, ни при каком допущении, не могли, однако все трое странно скосившимися глазами смотрели как бы друг на друга и как бы сквозь нее. Перед женщиной мелькали три лица, обозначая собой углы невообразимо искривившегося треугольника, она чувствовала, что находится как бы внутри этого пространственного треугольника, треугольник стягивается, стя-

гивает ей голову, голова тоже становится треугольной, кружится, и женщине все труднее и труднее удержаться на ногах. Она не слышала возгласа дочери: «Мама, ну зачем же так, идем отсюда!», она только видела, глазами уже закрытыми, как все трое сошлись в одной точке, у прохода, и все вместе, одновременно, в него вошли. И прежде чем упасть, прежде чем дочери подхватить ее на руки, женщина, уже несколько не доверяя своим впечатлениям, успела заметить, как в пространство между столами величаво и плавно вошел человек. Он шел прямо туда, где черная дверь так резко выделялась на бледно-голубой стене. После нескольких шагов человек вступил в тень, и его светлая, яркая на солнце рубашка погасла. Еще немного, и он оказался перед самой дверью и, ничуть не замедляя своего плавного шествия, исчез в ее прохладном, распахнутом полумраке.

РЕЗЕРВЫ МОЛОЧНЫХ РЕК

Ну кто из нас не любит похвастаться? Случись какое-нибудь событие в нашей жизни, пусть даже самое незначительное, но такое, в котором мы выглядели бы с наилучшей стороны, или по крайней мере, хотели бы так выглядеть, как сразу у нас появляется непреодолимая потребность рассказать о нем первому же повстречавшемуся знакомому. Разговор с ним сначала не клеится, мы рассеяны, едва слышим новости, которые он нам рассказывает, а между тем все наше внимание и вся наша воля направлены на то, чтобы не сказать ничего лишнего, что пошло бы вразрез с нашей бдительной скромностью. Мы еле сдерживаем себя, грудь наша полнится невысказанным, ждущим малейшего повода для того, чтобы прорваться и предстать перед ничем не подозревающим знакомым во всем своем неожиданном, во всем своем правдивом блеске. Чаще всего так оно и бывает. Уже в конце разговора, без всякой для себя надежды, мы

вдруг произносим магическое по своей беспричинности слово «кстати». И тут уж... все! Наша многократно воспетая слабость делает нас импровизаторами, артистами, поэтами.

Надо сказать, что в наше время почти не встретишь хвастунов явных, явные хвастуны исчезают, потому, что им трудно жить своим призванием. Наш трезвый, поднаторевший в построениях ум распознает их сразу. Мы не склонны благодушно выслушивать их или клеймить справедливым смехом, мы вежливо улыбаемся, пожимаем плечами, и только. Не стоит, конечно, думать, что хвастовство в наши дни исчезло совсем. Нет, оно, как и все вокруг, стало более сдержанным, более изощренным и в своем крайнем выражении воплотилось в полную противоположность — в молчанье. Бывает же так, что жизнь у человека складывается самая что ни на есть заурядная, хотя сам человек имеет истинное призвание к хвастовству. Как тут быть? Ну конечно, молчать. Это удобнее и, если хотите, благороднее. Молчащий хвастун, помимо прочего, может быть горд уже тем, что он стойчески молчит. Далее, когда хвастать нечем, а щеголять мелочами не хочется, мы оказываемся в состоянии невысказанной похвалы и, вследствие этого, все происходящее в мире и весь мир становится потенциальным подспорьем для наших правдивых рассказов. А это, согласитесь, очень лестно. Если же в нашей заурядной жизни все-таки произойдет событие в какой-то степени достойное, что само по себе опять-таки лестно, то при этом нам будет не менее лестно осознать, что мы стали людьми крайне современными — космическими. Мы ведь по-прежнему будем молчать — по привычке, или из мстительного упрямства к своей заурядности, или от разрывающего душу благородства — но как бы то ни было, наше молчаливое хвастовство, имея под собой неоспоримые основания и не имея выхода на люди, будет распирает нас изнутри, возвышать в собственном мнении и, наконец, возвеличивать наши достоинства поистине до вселенских масштабов.

Все это ни в коей мере, ни прямо, ни косвенно, нельзя

соотносить с фигурой Баймурзы Нурдиновича, а следует понимать, скажем, как желание автора похвастаться знанием предмета.

Семья Баймурзы Нурдиновича знала, что должно было случиться сегодня, ровно в семь часов сорок минут вечера. Сам Баймурза Нурдинович, конечно же, знал больше. Например, то, что его домочадцы преисполнены надлежащего ожидания. Вернувшись с работы, он поздоровался со всеми как ни в чем не бывало и, чтобы предотвратить излишний ажиотаж, быстро прошел в спальню, якобы переодеться и отдохнуть перед ужином. Одного беглого взгляда Баймурзе Нурдиновичу было достаточно, чтобы заключить, что жена скрывает от него смешанное чувство удивления и восхищения, дочка не скрывает своего восторга, и даже сын, онемев на минуту, не задает ему скептических вопросов. Впрочем, на такие вопросы Баймурза Нурдинович имел одну крепкую мысль: когда-нибудь сын вырастет и поймет все. Что именно поймет сын, Баймурза Нурдинович не всегда представлял себе точно, да и не пытался этого сделать, чувствуя, что ответ на этот вопрос теряется где-то в умопомрачительных сферах. Если вопрос оказывался чересчур скептическим, Баймурза Нурдинович отсылал сына к этим сферам, ничуть не ревнуя к ним, а наоборот, гордясь тем, что обращается с ними накоротке.

В спальне Баймурза Нурдинович переоделся в домашнее и торжественно лег отдохнуть. Вообще-то, после работы он отдыхал не так. Больше всего он любил прогуляться по своей квартире, в этом маленьком кусочке пространства, так гармонично сопряженном с пространством отдыхающего тела Баймурзы Нурдиновича: прохлада ванной, сколько угодно воды, свежее полотенце, удобный диван, на котором можно посидеть, а если хочешь, полежать, и так далее, вплоть до самых мелочей, и все это вместе подводило Баймурзу Нурдиновича к удивительному впечатлению, что пространство его квартиры мягко, как спортивные штаны, облегает его со всех сторон и, облекая, становится почти

осязаемым. Разумеется, такое впечатление бывало возможным при условии, что отношения между Баймурзой Нурдиновичем и его женой были в полном согласии. Именно она в первую очередь наполняла собой квартиру, и если между Баймурзой Нурдиновичем и ею возникали какие-либо прохладные интонации, то ни о каком осязании не могло быть и речи. Маленькое пространство становилось для Баймурзы Нурдиновича бессмысленным и чуждым. К тому же, он лишился и еще одного, не менее приятного отдохновения. Оно заключалось в том, чтобы в ожидании ужина зайти между прочим, на кухню, заглянуть в холодильник, приоткрыть там крышки и крышечки, развернуть сверточки, и проделывать все это с таким замирающим чувством, будто его ждет какой-то съестной сюрприз. Из плоскости деловых разговоров, деловых встреч Баймурза Нурдинович переносился в иную, съедобную плоскость, и ощущение этого переноса вызывало у него дополнительный прилив аппетита. Знакомясь с припасами, Баймурза Нурдинович расспрашивал жену о том, что они будут есть на ужин, что они будут есть на завтрак, и хватит ли им всего этого, и не лучше ли ему выпить кефир утром, а то кефир перестоял в холодильнике и стал слишком холодным, и когда лучше вынуть кефир из холодильника, сейчас или перед сном, и если вынуть сейчас, то есть вероятность, что к утру кефир может испортиться... А минуты, оставшиеся до ужина, текли, минуты такие нестерпимо-вкусные, что Баймурза Нурдинович, смакуя их, чувствовал, как они просачиваются через него. Он не слышал ответов жены, не слышал, о чем он сам ее спрашивает, но разговор в целом получается связный, если не считать того, что некоторые вопросы Баймурза Нурдинович задавал раза по два, а то и больше. Лишь интонации ее голоса не ускользали от внутреннего слуха Баймурзы Нурдиновича. Обыкновенно, они были вполне такими, какими он желал их слышать. Одного только он не мог уяснить до конца: на самом ли деле они такие и другими быть не могут, или они проявляются

у жены от того, что она умело владеет своим голосом. В разные моменты жизни Баймурза Нурдинович был расположен думать по-разному. Например, когда он только начинал спрашивать жену про кефир, и она одобряла его намерение выпить кефир вечером,— ему казалось, что интонации ее голоса искренни, что они принадлежат женщине, семейная жизнь которой состоит, в основном, из одних только радостей, причем одна из первейших радостей — это забота о нем, о Баймурзе Нурдиновиче. Но когда чуточку позже он решился было оставить кефир до завтра, и она одобрила и это намерение, и даже похвалила его за предусмотрительность,— тут ему показалось, что интонации ее голоса искусственны, что за ними скрывается раздражение обремененной хозяйством женщины и, больше того, разочарование жизнью вообще. Задерживать ее внимание на том, когда же все-таки вынуть кефир из холодильника, сейчас или перед сном, Баймурза Нурдинович уже не пытался. В полном смятении мыслей он ставил кефир на подоконник и потихоньку исчезал из кухни.

Исключительность сегодняшнего вечера заставила Баймурзу Нурдиновича от всего этого отказаться. За ужином он выпил две чашки пустого чаю. Около семи часов тридцати девяти минут он покинул свое обычное место за столом, откуда удобнее всего было смотреть телевизор, и пересел еще ближе к телевизору, на ковер. Что творилось в душе Баймурзы Нурдиновича в ту минуту — неизвестно, тем не менее, совсем не лишним было бы учесть, что подобным образом он садился только в экстренных случаях, когда смотрел чемпионаты мира. Об ужине, прошедшем кое-как, нечего было и говорить. Никто и не говорил. Все молчали. Молчал и телевизор, словно накапливая в себе заряд для того, чтобы в следующий момент громоподобно разразиться голосом пророка-диктора, который возвестил миру о том, что сейчас, перед дорогими телезрителями, в передаче «Резервы молочных рек», выступит... (сам!!) Баймурза Нурдинович Абдылдаев!

Оба Баймурзы Нурдиновича, и тот, что появился на экране, и тот, что сидел на полу, обменялись триумфальными взглядами. Так славно им еще не было никогда. Разве что год назад, в то памятное утро, когда у Калиевой отвалился каблук. Это было как сейчас: Баймурза Нурдинович шел на работу, как вдруг заметил, что догоняет идущую впереди красивую строгую Калиеву. Баймурза Нурдинович не стал спешить, памятуя, что, во-первых, обгонять начальство не следует и, во-вторых, показываться начальству лишний раз на глаза тоже не стоит. С должным самоуважением он следовал сзади и наблюдал за начальнической походкой. Имелся у него и еще один, сугубо личный повод не обгонять Калиеву: она могла посмотреть на него как-нибудь не так. А если Баймурза Нурдинович замечал, что начальство смотрит на него «не так», то ему всегда становилось не по себе, и он начинал обостренно чувствовать трагическую сущность жизни. Действительно, подумать что-либо «не так» в отношении его личных качеств начальство никак не могло. Значит, делал вывод Баймурза Нурдинович, оно думало «не так» о его деловых качествах. Но работа лишь отчасти соприкасалась с внутренним обликом Баймурзы Нурдиновича, следовательно, начальническое «не так» было по отношению к нему справедливым тоже лишь отчасти. Причем, несправедливая часть была временам достаточно большой, хотя и не очень, поскольку насчет соприкосновения с обликом у Баймурзы Нурдиновича обстояло не так уж плохо: рядом с его рабочим местом стоял шкаф с деловыми бумагами и бледно-зелеными занавесками. На фоне этих занавесок смуглый Баймурза Нурдинович отлично смотрелся в любое время года.

И тем не менее у Баймурзы Нурдиновича радостно екнуло сердце, когда ему выпало увидеть, как у Калиевой отвалился каблук. Возникшую эмоцию Баймурза Нурдинович никак не выдал, поэтому нельзя было сказать, что он испугался ее невольного появления, однако кое-какие сопутствующие мысли у него вдруг обнаружили: он допу-

скал, например, что могло найтись чье-нибудь расстроенное воображение, обладатель которого заявил бы, что катастрофу с каблуком подстроил именно Баймурза Нурдинович. Или еще, тоже вполне вероятный вариант: про его эмоцию каким-либо образом могла узнать Калиева. Этот вариант показался Баймурзе Нурдиновичу особенно реальным, когда она наконец его увидела. Баймурза Нурдинович сосредоточил в себе все, что можно было сосредоточить, сделал из этого ничего не понимающий вид и пошел прямо к ней. Он был почти уверен в том, что ей уже известна его эмоция, его потуги ничего непонимания, и все-таки, не отказываясь ни от того, ни от другого, он бесстрашно думал о том и другом, поскольку и то и другое в нем было, есть, и, как это ни печально, еще будет, он нес на себе ее взгляд и с чувством глубокого удовлетворения сознавал, как под чутким начальническим взглядом из бездны злорадства он воспаряет к самоотверженным вершинам духа.

Баймурза Нурдинович остановился перед Калиевой. Она показала ему сломанный каблук. Он незамедлительно выразил ей сочувствие и замер, как бы ожидая дальнейших распоряжений. Вздохнув, Калиева попробовала идти без каблука. Баймурза Нурдинович почтительно пошел рядом, опасения его, кажется, не оправдывались, он повеселел и даже проявил участливое любопытство, следя за тем, как удастся Калиевой идти на одном каблуке. Каблуки были высокими, идти было трудно, в конце концов Калиева предложила Баймурзе Нурдиновичу взять ее под руку. Он элегантно согласился. Еще бы! Он, у которого даже нет собственного кабинета, он... Да что там говорить...

Они приближались к окнам учреждения. Краем глаза Баймурза Нурдинович увидел, что из той комнаты, где кроме его рабочего стола стоят еще два, и за ними сидят двое в пиджаках,—оттуда тоже смотрят на него. Что ж, пускай смотрят. В той комнате каждый сидел за своим столом, и у каждого стола были свои преимущества. На

одном стоял телефон, и можно было, удобно устроившись за этим столом, говорить по телефону сколько угодно. Другой стол находился около окна, можно было смотреть в окно. Третий стол, за которым сидел Баймурза Нурдинович, стоял возле шкафа. Выгода этого места, помимо занавесок, состояла в том, что из шкафа можно было, не вставая со стула, доставать нужные бумаги. Порой Баймурза Нурдинович чувствовал, что на разнице преимуществ в их комнате возникала сложная система взаимной зависти, причем, несомненно, больше всего завидовали ему. И вправду, какая польза от телефона? Ведь звонят не часто, а если и позвонят, то еще неизвестно, что скажут. А окно? Что хорошего изо дня в день видеть в нем одно и то же, и тем не менее смотреть туда, долго, без всякой цели, пока наконец не придет в голову мысль об идиотизме собственного существования. Другое дело шкаф. Во-первых, близость нужных бумаг. Во-вторых, очень тонкое, интимное преимущество — удачные занавески. Расположенные за спиной Баймурзы Нурдиновича, они придавали ему уверенности во всех делах и создавали за его спиной какое-то напряженное поле, которое несколько не тяготило Баймурзу Нурдиновича, напротив, оно вызывало в нем щекочущий интерес и желание лишний раз оглянуться. Иногда он и в самом деле оглядывался, и это получалось у него так, словно он не оглянулся, а победно огляделся. При этом двое в пиджаках сидели, уткнувшись в свои столы, и Баймурза Нурдинович догадывался про них, что они еле сдерживают глубокие вздохи, понимая, что так оно в жизни бывает всегда: что-то есть, а чего-то нет. И обоим очень грустно.

А в тот момент, когда перед окнами учреждения он шел под руку с Калиевой — и подавно. Сочувствуя им, Баймурза Нурдинович старался вести себя как можно скромнее. Он вежливо утешал Калиеву: «Ничего, ничего, всякое бывает». Калиева, слегка растерянная, благодарила его за тактичное участие. Это вдохновляло Баймурзу Нурдиновича, и он продолжал: «Ничего, ничего, все обойдется...»

Но и это было еще не все. В то утро Баймурза Нурдинович заметил, что если идти мимо большого здания, зная, что изо всех окон на тебя смотрят, то каким-то гипнотическим образом бок, обращенный к зданию, начинает чуть-чуть искривляться и увеличиваться в размерах. Затем по всему телу пробегает игольчатая дрожь, которая будоражит и движет неизвестно куда, кажется, на большие свершения. Баймурза Нурдинович был бы рад, к примеру, каким-нибудь незаметным способом оторвать у Калиевой второй каблук, но не ради того, чтобы видеть ее падение, а ради того, чтобы она, падая, попросила у него помощи, а он, подхватив ее на руки, понес бы высоко, гордо, как знамя, и думал бы от всей души: «Знай наших!»

По-видимому, душевные порывы подобной силы не исчезают бесследно. Ибо чем объяснить, что год спустя, на той неделе, Калиева вызвала Баймурзу Нурдиновича к себе и представила товарищу из телевидения. «Справитесь?» — спросила она у Баймурзы Нурдиновича, когда товарищ ввел его в курс дела. «Ну что ж... — выдержав серьезную паузу, сказал Баймурза Нурдинович. — Если надо — пожалуйста».

Теперь же, сидя на полу перед телевизором, он раздумывал о том, что трудно, конечно, сопоставлять эти два события, да еще разнесенные во времени на целый год, что здесь нужна редкая проницательность для того, чтобы усмотреть их тайную связь, но нужна проницательность гораздо более глубокая, чтобы не усматривать в этом ничего, кроме всяческого, всеобщего, достигающего степени едва ли не абстрактной, уважения к его персоне. Теперь уже не одно только учреждение будет говорить о нем — куда там! — вся республика будет говорить о нем, но и вся она, со многими своими квадратными километрами, не сможет вместить в себя того ликования, какое испытывал Баймурза Нурдинович, сидя напротив голубого экрана. Ликование было по меньшей мере таким, как будто бы с Баймурзой Нурдиновичем случилось событие исключительной

важности. Как будто бы он находился там, в телестудии, освещенной десятком ярких юпитеров, взмокший, волнующийся, испытывающий удушье и сухость в горле, а в это время телекамера медленно наезжала на него из темной глубины павильона, нацеливая фиолетово мерцающий объектив. Изредка, насколько позволяло ему чтение по бумажке, Баймурза Нурдинович заглядывал в объектив, и каждый раз внезапно, с трепетом ощущал, что там сокрыта огромная, внемлющая ему, окутанная полумраком аудитория. Камера подъезжала все ближе и ближе, объектив становился все больше и больше, и Баймурза Нурдинович начинал чувствовать, что он уже не волнуется, не хочет попить холодной водички, что сам он, вроде, бы, тоже движется навстречу объективу, и вот он весь в объективе, его тело, со всех сторон пронизанное токами, бьется в игольчатых, совсем как год назад, судорогах, в следующую секунду, о которой он не имел уже ни малейшего представления, Баймурза Нурдинович, расщепленный по тысячам проводков, рассосанный ими, как червями, претерпевший в их переплетениях невообразимую гипертрофию, был исторгнут, по меньшей мере,— прямо в закатное небо.

Багровый монстр заваливался за край земли. Небо исчезало. Плающие юпитеры закружились вокруг Баймурзы Нурдиновича, и сам он, вполне вероятно, тоже стал одним из юпитеров. Правда, из доказующих впечатлений у него было только одно: странное средоточие в пространстве своего собственного «я». Остальные части Баймурзы Нурдиновича стремительно разбегались в сверкающей тьме, он становился похож на гигантское поле планктона в страшном ночном океане, он чувствовал себя, по меньшей мере, всепроникающим. В таком состоянии он наверняка мог бы оторвать Калиевой второй каблук. Едва Баймурза Нурдинович подумал об этом, как недра его содрогнулись в адском хохоте, и он ощутил себя воплощением дьявольской силы, которая по своему неограниченному произволу

играет судьбами мира. Это польстило Баймурзе Нурдиновичу и вместе с тем ужаснуло. Охвативший его ужас не был паническим, — это был ужас ледяной, вечный, вынести который Баймурзе Нурдиновичу, при всех своих достижениях, вряд ли удалось бы. К счастью, Баймурза Нурдинович был спасен неизвестно откуда сошедшим на него, не менее ледяным, не менее вечным спокойствием. Как и откуда оно сошло на Баймурзу Нурдиновича, оставалось для него неизвестным. Память подсказывала ему, что спокойствие обнаружилось себя благодаря, так сказать, равновесию, благодаря способности Баймурзы Нурдиновича не только к адскому хохоту, но и к самоотверженным подъемам духа. Но что-то иное, вне памяти, внушало ему, что подобные подсказки — ерунда, поскольку теперь ему некуда воспарять, некуда низвергаться, поскольку теперь черт знает что, прямо смотреть — будет правильно, и вверх ногами смотреть — тоже будет правильно, и даже последний ориентир, собственные ноги, и тот безнадежно отсутствует. Баймурза Нурдинович и раньше догадывался, что мир устроен черт знает как, это становилось особенно ясным, когда нужные бумаги в шкафу находились не сразу, и Баймурзе Нурдиновичу приходилось вставать со стула, чтобы все-таки их найти. Догадки Баймурзы Нурдиновича, топтавшегося между стулом и шкафом, расширяли его духовный горизонт, наводили на размышления о том, принимать мир или не принимать мир; принимать в нем только бледно-зеленые занавески, или все кроме них, — несмотря на все это, несмотря на всю их, по меньшей мере, гениальность, они никак не могли пригодиться нынешнему, разбегающемуся Баймурзе Нурдиновичу. Он был нем, он был весь созерцание, не говорящее ничего и говорящее все подряд, он был весь как вывернутый наизнанку калейдоскоп, в котором сверкая и переливаясь оттенками — ужас сменяется спокойствием, спокойствие сменяется всевиденьем, всевиденье, в свою очередь, мелодичным смешком, возможно, с дебильными тонами, потом все это взрывается адским хохотом, а

после него воцаряется нестерпимая тишина, и вслед за тишиной приходит ощущение бесконечной удаленности от чего бы то ни было, ощущение холода, неотвратимого угасания, и долгой, утонченной, похожей на агонию рефлексии. Наконец, все это взрывается еще раз, до основ — взрывается в сверхъяркой катастрофе нового рождения, которое завершает собою очередной круг и начинает новый, и весь этот неисчислимый, непёресказуемый калейдоскоп повторяется снова, но не в точном соответствии с уже бывшим, потому что в нем каждое последующее состояние таит в себе опыт всех предыдущих, и каждое последующее отчаяние оказывается все более безысходным, и каждый последующий смех оказывается все более глубоким. Круги множились, и Баймурза Нурдинович постепенно воплощался в отвлеченный, зыбкий мир, напоминающий собою сон только что родившегося младенца.

Ко всему этому необходимо добавить, что все, что стряслось с Баймурзой Нурдиновичем, было свободно от временных рамок. Это могло происходить одновременно, или вспять, или как-нибудь еще, сливаясь для него в одну неопределимую какофонию. Сказать о ней толком ничего нельзя, кроме, пожалуй, одного: создал ее не кто иной, как Баймурза Нурдинович, он стал ее творцом, ее глиной, ее сущностью, он стал, по меньшей мере, Баймурзой Нурдиновичем, вечно — творящим — хаос. Но самому ему, между тем, было мало до этого дела, ему вдруг стало грустно. Он понял, что попал в другие измерения, что никто уже не будет смотреть на него с восхищением, а он, в ответ на это, не будет молчать с чувством законной гордости, он никогда уже не будет гулять по уютной квартире и разворачивать аппетитные сверточки в холодильнике... Отныне, простертый в пространстве огромной молочной рекой, Баймурза Нурдинович будет обречен на чистый, вечный, неведомый никому полет. Лишь одинокие параллельные прямые, порожденные его безграничным сознанием, пересекаясь в бесконечности, будут выводить ему величественный знак плюс.

Баймурза Нурдинович устремился к их ускользающему перекрестью. Он поглощал пространства миллиардами лет, а может быть, долями секунд. Тоска ли двигала им, или отчаяние беспредельного бытия, или дерзновенная мысль о том, что Вселенная не шкаф с деловыми бумагами, что в ней обязательно найдется кто-нибудь, кто заметит его и возродит в новом виденье,— Баймурза Нурдинович летел и летел. И вот, случился такой момент, когда он почувствовал, что его мыслящий центр начинает притягиваться к какой-то неизвестной, но смутно знакомой точке пространства. Порывшись в своей, по меньшей мере, необозримой памяти Баймурза Нурдинович не успел. В следующий миг — он, тысячеликий и единый в самом себе, страдающий от бессмертия и духоты в павильоне,— он говорил с человечеством об удоях и процентах, об отдельных недостатках и передовиках, он говорил об этом, может быть, как о высших истинах бытия. А если не как об истинах, то во всяком случае, то по меньшей мере, как о наиболее приемлемых для человечества формах существования. Он был счастлив поведать об этом людям.

Передача закончилась. Баймурза Нурдинович все сидел и сидел на полу. Наконец он тяжело встал и расправил живот. Живот его стал продолжением груди, грудь его стала замечательно большой, а сам Баймурза Нурдинович стал похож на живой, талантливо исполненный памятник. Не глядя на домочадцев и едва обронив жене, что он решил дать себе отдохнуть, Баймурза Нурдинович двинулся в спальню. И отдых его, пожалуй, был вполне заслуженным.

СЫН

Он шел среди людей, и сидевшая во дворе женщина сказала ему: «Перемени рубашку, сынок. Люди говорят, она слишком светлая...» Он знал, что для них она слишком

светлая. Он слышал недобрый шепоток за своей спиной и ждал, что кто-нибудь скажет ему об этом.

Был вечер, когда он открыл дверь и впустил в дом всех тех, кто стоял у порога. Вместе с ними он впустил в дом неотвратимость удара. Действительность распалась для него — рукопожатия, соболезнования, доставания носовых платков явились ему в странном разрыве с тем смыслом, который должен был стоять за всем этим. Его зрение и слух отдалились друг от друга, и страшен был молчаливый приход этих людей, и тщетно зывали их голоса в крошечной тьме.

Тогда на нем была именно эта рубашка. Он не сменил ее — ему померещился непростой знак. Своей волей он не нарушил знака, но когда женщина сказала ему, он не стал возражать ей.

Возле распахнутого шкафа он пробыл долго. Иногда он забывал, что ищет. Ему на помощь пришла мать, и он стал смотреть, как она перебирает вещи. Движения ее рук успокаивали его, и ее тоже. Созданный матерью распорядок вещей в шкафу давал ей возможность забыться в мире ее собственных правил. На одной из полок мать наткнулась на пару новых носков, которые так и не пришлось надеть отцу, — и реальность происходящего вернулась к ней. С носками в руках она заплакала снова. Он стал утешать ее, ему хотелось плакать с ней вместе, но он не позволял себе этого, потому что считал, что должен держаться по-мужски.

Он так и не плакал вместе с матерью и сестрами, хотя разделял с ними кровное горе. Он не плакал и вместе с сородичами, особенным плачем, как того требует обычай, хотя понимал, что они воздают справедливую дань самому сильному мужчине рода, защитнику рода во многих земных делах. Он не плакал с друзьями покойного, хотя видел, как тяжело навалилась на них светлая память о дружбе и славных днях молодости. Он не плакал вместе с врагами и завистниками, они тоже пришли, и он знал про

них, что в тайниках своих душ они справляют черную, покаянную тризну.

Среди плакавших установилось нго любви к человеку, который так рано покинул их. Каждый стремился не отстать от других в своей любви к нему, в своей близости к его жизни и смерти. Это стремление порождало взаимную ревность и толкание локтями. Раздавались шиканья и недовольные замечания по поводу соблюдения тех или иных тонкостей ритуала, о которых у всех имелось собственное мнение.

Больше всего доставалось ему — сыну. Его бесслезность была непонятной, а следовательно, вызывала всеобщее неодобрение. Тем более, что подходящая рубашка так и не нашлась. Он одел другую, но и другая была очень светлой для подобного случая. Тогда он понял: так суждено.

Всю ночь он ждал встречи с телом отца. Тело везли с далекого горного озера, в водах которого отец принял свою смерть. Тела не видел еще никто, но оплакивание началось сразу же, ночью. Первое, что испытал при этом сын, было какое-то зловещее недоумение. В смерть не верилось, оплакивание выглядело поспешным и даже смешным. Скорбные лица приближались к сыну, сочувствуя и, очевидно, ожидая ответных чувств, но вместо этого он с трудом подавлял в себе приступы идиотской улыбки, ему приходилось напрягаться всем телом, чтобы сохранить хотя бы непроницаемое выражение лица. Ему казалось, что все остальные тоже не могут быть так серьезны и, чтобы скрыть это, медленно прохаживаются по комнате, навевая друг на друга, и на него, вязкую, липкую дремоту. Сначала он хотел бороться с дремотой, но потом заметил, что чем больше с ней борешься, тем сильнее она одолевает. Тогда он стал бороться с ней по-другому, то есть никак не боролся, а старался просто не замечать ее. Это помогло, дремота рассеялась, и вместо нее появилось ощущение просторной темной пустоты. Когда новое ощущение устоялось в нем настолько, что он смог прислушиваться к нему, он почув-

ствовал, что заключенная в нем пустота начинает распира́ть его изнутри, как будто в ней начался один нескончаемый вдох, как будто в ней нарастает огромная волна, которая стремительно и неслышно скользит по гладкой, жутко-черной поверхности водных пространств. Сын понял, что в этой волне сосредоточились все его силы, и никогда еще не достигали они такой большой плотности.

Каким-то образом ночь исчезла. Из глубины раннего утра вынырнула машина «скорой помощи» и остановилась у ворот морга. Ее уже ждали. Возникло легкое волнение, послали за сторожем, чтобы открыть ворота. На этом волнение стихло. Все стали смотреть на машину. Никто не подходил к ней — только сын неожиданно для себя сделал шаг вперед. Шагнув, он почувствовал притяжение машины, и пошел к ней, оставляя позади себя неподвижных устроителей похорон. Они пропустили его, их жизненный опыт сказал им, что ему дано войти первым, и он, тревожимый грозным сном отца, вошел первым.

Он захлопнул за собой дверцу, и герметичная теснота сдавила его. Он увидел в упор белый холм пододеяльника. Взгляд сына замер на неподвижной измятой белизне, и сын подумал: «Пододеяльник не движется потому, что под ним нет ни вдоха, ни выдоха.». Сыну понадобилось время, чтобы привыкнуть к тому, а затем взять пододеяльник за края и, подавляя предчувствие ужаса, пересиливая ожидание гнилостного духа, который ударит сейчас в ноздри, заглянуть в лицо родительской смерти.

Открытие состояло в том, что часть его собственной жизни явилась ему в искаженном виде, искажение было таким, что во всех чертах открывшегося лица, в каждой мельчайшей черточке, родной и привычной с детства, сквозило бесспорное, грязное присутствие смерти. Покрытое илистым налетом, тело являло собой кусок застывшей глины. Жизнь покинула эту глину, уходя, наверно, через лицо, потому что на лице она запечатлелась вся, вплоть до последних, мучительных мгновений.

Смерть свою отец понял. На лице была заметна досада, словно отец совершил ошибку, которую нельзя поправить. Лоб его был нахмурен, глаза напряженно закрыты, губы поджаты так, будто сквозь них отец втягивает в себя воздух. Сын помнил это выражение, оно было у отца однажды, когда сын нечаянно, резким движением ребенка, ошпарил его горячим супом.

Левая бровь у переносицы изогнулась вверх и застыла. Если отец бывал настроен на откровенность, она изгибалась именно так. Этот изгиб придавал его лицу значительный вид, словно отец соприкоснулся с большой истиной и находится в состоянии наполнения ею. Следствие у этой истины бывало всегда одно. Отец подзывал к себе сына и, выдержав на нем испытующий взгляд, как бы проверяющий, созрел ли сын для такого разговора, произносил неизменную фразу: «Сын мой, ты все поймешь тогда, когда у тебя самого будет сын!» Каждый раз отец выговаривал эту фразу с новым оттенком. Для него она не теряла своей значительности, она засела в нем навсегда. Складки над переносицей и в углах рта хранили ее. Для сына они были средоточием первых представлений о разумном наказании и справедливом суде.

Суровые складки становились подчас багровыми и нестерпимо суровыми. В таких случаях сын поворачивался и выходил вон из комнаты, а отец начинал требовать, чтобы сын вернулся. Отец выкрикивал имя сына, выкрикивал все громче, яростней, и наконец уже не выкрикивал, а казалось, раздирал свое горло, исторгая из себя ненавистное имя. И оно западало в сына и, облитое кровью и гневом, взрывалось там. Сын возвращался, чтобы возразить, возмутиться, но бывал слишком потрясен, и вместо слов, с отточенной ясностью пульсировавших в висках, издавал протестующий хрип, который лишь однажды, месяца за три до смерти отца, вдруг на минуту вылился в речь. Сын посмотрел в глаза отцу, и во взгляде этом (как он сам вспоминал) сконцентрировалось нечто такое, что проникло в отца че-

рез глазницы и, проникнув, произвело в нем какое-то разрушение. Взгляд отца потух, а сын сказал: «Будешь давить — уйду. Будешь один...».

Так и случилось. К этому отец шел всю жизнь. Сын тоже. Все началось на горном озере. Впрочем — и кончилось там же...

Взрослые загорали, а сын, тогда еще малолетний, купался. Плавал он хорошо, потому что ходил в секцию и воду любил. Незаметно для всех он уплыл далеко. Он не чувствовал ни усталости, ни затягивающего страха глубины, легко держался. Озеро перекачивало сына с волны на волну, он радовался неизвестно отчего, и оба они, и озеро и мальчик испытывали друг к другу взаимное расположение. Казалось, что он находится на спине огромного зверя, с которым играет на равных. Их равенство происходило оттого, что они давали друг другу то, в чем нуждался каждый из них. Лазурный гигант был беззащитен и одинок, он тосковал по такому жизнерадостному существу, каким был ребенок. А тот с помощью своего друга чувствовал себя сильным и смелым.

Взрослые по-своему расценили возникшую дружбу. Их фигурки заматались по берегу, и вскоре бархатная спина озера была вспорота катером, в котором сидел сердитый дядя. Он выловил сына из воды и с энергичной расстановкой сказал: «Сейчас тебе отец врежет».

И в память сына врезалась залитая солнцем комната, выбеленные стены и глаза матери, в которые он заглядывал в последней надежде, и он сам, холодный, дрожащий, со съезженной пипкой, мерзнувшей в мокрых трусиках.

Отец надвинулся без единого слова, надвинулся как удушающий кошмар, после которого сильный удар по голове был принят как облегчение. Последовало еще два неспешных, тяжеловесных удара, и потом, с промедлением, как будто после раздумья, еще один. С каждым ударом комната темнела, и сыну казалось, что она превращается в подземелье, в котором страшными пытками терзают боль-

шого черного кота. Кот орет, но беззвучно, и вся мука его уходит из него с искрами, которые извергает его вздыбившаяся шерсть... Что-то горячее, брызнувшее сыну в трусики, вернуло его из подземелья. Наверху уже стояла тишина, если не считать громких словесных внушений.

С тех пор у сына появились предчувствия. Приближение гнета, усвоенного им раз и навсегда, он чувствовал заранее. Появлялось ощущение чего-то тяжелого, упругого, непомерно большого, оно проплывало вблизи сына и давило на грудь. В то же время оно проплывало где-то внутри него, и давило изнутри, давило медленно с изнуряющим нарастанием, отнимая веру в то, что он способен пережить эту гнетущую мощь.

Однажды выпало много снега. В вечерних сумерках зажглись огоньки фонарей, по утопанному снегу, как по льду, катались дети. В разноцветных шапочках, пальтишках, штанишках, они были похожи на гномиков, они сновали туда-сюда, ставили друг другу подножки, падали в кучу, кидались снежками. Все были охвачены визгливым весельем, суть которого состояла в том, чтобы как можно смешнее потолкаться, повалиться, потискаться.

В пылу возни сын очутился на краю хохочущего клуба. Нырнуть обратно он не смог, потому что увидел отца, услышал его строгий голос. Смех пропал в сыне. Отец шел навстречу, на скользком снегу его походка была неуклюжей, и от этого еще более пугающей. Сын ждал неведомой расправы, он сжимался в жалкий, обреченный на жизнь комок... Внезапно отец подскользнулся, взмахнул обеими руками, ногами, и со всего маху, грузным телом рухнул на лед. Все вокруг смолкло, и в абсолютной тишине раздался громкий, хряский удар об лед отцовского затылка.

Удар пронзил сына. Он почувствовал тупую боль в собственном затылке, и жалость к отцу, и власть над его расprostертым телом, и злорадствующее торжество, и смертельную обиду на детей, за их оскорбительный смех, и робкую надежду на примирение,— и все это вместе вдруг

открыло сыну то, что было скрыто от него раньше — единственность с отцом.

Тот вечер сложился так, что сын пробежал на улице допоздна. Небо над сыном было зеркально-черным, льдистым. В первый и, может быть, единственный раз в своей жизни он увидел на небе полную яркозеленую луну...

Сын долго всматривался в смертный лик отца. Наконец, дверца «скорой помощи» приоткрылась, и он понял, что пора выходить. Он вышел и, никому не глядя в глаза, почувствовал, что все взгляды устремлены на него. Взгляды были понимающими, щадящими, они склоняли к слабости и слезам, и наперед прощали и то и другое. Сын сразу ослаб, но успел отойти в сторону и встать спиной к устроителям похорон. Во что бы то ни стало он должен был сдержаться, он напрягся всем телом, напрягся изо всех сил. Зачем он так делал, он не знал, но так было надо. В свидетели своей борьбы со слезами он не хотел никого. Перед ним вновь распахнулась внимательная, трогаящая за живое пустота, и скользившая в ней все это время волна обрушилась на него, она рванулась к горлу горячей, брызжащей прорвой. Сын запрокинул голову вверх, чтобы случайная слеза не выкатилась из мокрых глаз. Вверху он увидел голубое небо и гигантское белоснежное облако, оно нависло над сыном, оно взгромодилось ему на грудь — как бремя, наполненное безумным, немим криком сына.

Днем позже, в препараторской, будут обмывать тело отца. Оно выскользнет из мокрых рук стариков и ударится о каменную плиту. Опять затылком. Прокатится звук, — гулкий, мертвый, без хряска. Сын услышит его как прощание, как напоминание о единородстве. Сын станет последним, кто увидит отца в погребальной темноте. Рядом будет работать каменщик, и стену мусульманской могилы он заделает наглухо.

Когда все будет кончено, сын выйдет наверх, и среди

множества людей, изнемогающих от жары и похоронного зрелища, он увидит ту, от которой всегда исходит откровенный, и потому кажущийся каким-то наивным, запах духов под названием «Индийский сандал». Он увидит ее и узнает, что горе труднее сдерживать с теми, кого мы так или иначе любим. Они обменяются взглядами, и она уйдет, никем не замеченная, никому не знакомая.

Она уйдет, и усталость навалится на него, и похороны станут еще более тягостной процедурой, во время которой. неожиданно для всех распространится слух о том, что один из друзей отца, приехавший на похороны, занимает пост устрашающей величины. И все оставшиеся в живых отцы семейств постараются излить свое горе именно этому другу. Они сделают это достойно, и вместе с тем трусовато, как и положено солидным отцам, на плечах которых лежит забота о потомстве. Возникшая вокруг большого человека суетливость не покажется отцам излишней, или неуместной — между ними будет молчаливо признано, что суетливость их не так проста, а заключает в себе глубокую мудрость, ведь стараются они не для себя, а для детей.

И еще много мудрого впитают в себя похоронные дни. Впитают, чтобы кануть в ночном забвении сына. В одну из ночей он проснется, и в полной темноте, не вспомнив, кто он и что он, услышит тихий шепот надежды. Он оденется и выйдет в ночь. Шаги его будут бесшумны, и тень его заскользит мимо деревьев, мимо фонарей, бросающих на тротуары пятнистый свет. Мягкая прохлада освежит его, и он увидит черные, едва различимые верхушки тополей, растущие в загадочной близости к черному провалу неба. Он будет смотреть на них долго, пристально, и уйдет далеко, и растворится в ночи под названием «Индийский сандал».

Он увидит смуглые губы, и вишневую мякоть языка, и сладкое дрожание мякоти, и призывно горящее золото в истомной глубине рта. Ночь ласково улыбнется сыну, и в ее улыбке, как в зеркале, он увидит свое отчаяние и подымающийся в нем неудержимый, сумрачный напор. И ночь,

знающая, что такое неразделенное одиночество, примет его отчаяние и его напор, и сын рассеет ее тьму, рассеет иступленно, жадно, и ночь будет с ним заодно, до конца, и крик сына, превозмогая судорожную немоту, разорвется пополам, на двоих, и сын перестанет быть сыном в тот миг, когда огромное облако, набухшее жгучей влагой, хлынет опустошающим, освобождающим ливнем.

И сын увидит себя на год вперед, в священной сутолоке годовых поминок. Волею случая он окажется там, где будут резать жертвенную кобылу. Он оставит хлопочущих на кухне людей и подойдет к намеченной жертве. Гнедой масти, привязанная к дереву какими-то синими проводами, она уже будет знать о своей смерти, и жалящие ее слепни, почуяв обреченность лошади, накинутся на нее с удвоенной силой. Сын погладит ее по шее и услышит в ответ печальные вздохи, увидит брызгающие из вымени струйки молока. Прощаясь с жизнью, кобыла искоса посмотрит на человека, будто желая найти у него подтверждение тому, во что сама никак не может поверить. Он не скажет ей ничего, и только солнце будет все глубже погружаться в красное море заката, и угасающие лучи будут метить кобылу золотисто-горячим отливом.

Потом перед сыном возникнут наточенные ножи, и сородич, вызвавшийся быть палачом, и крепкий аркан, накиннутый вокруг стана кобылы, и люди, навалившиеся на концы аркана, и упавшая набок кобыла, и ее ноги, особенно задние, растянутые арканом так, что проступит сходство с распятой страстью женщиной. И сына подхватит течение какого-то неоспоримого закона, согласно которому он должен стать убийцей, и всеми силами души он не захочет быть убийцей, но течение закона все равно сделает его соучастником, и неизбежность соучастия, и жгучее желание опрокинуть эту неизбежность прикуют взгляд сына к пронзительному взмаху ножа, к тому мигу, когда весь мир сожмется до пределов протыкаемой шеи, и с диким упоением вырвется багровый фонтан, и глаза сына вспыхнут безум-

ным, рассекающим взглядом, тем взглядом, который способен вобрать в себя бремя дымящейся крови.

В полной тишине, когда затихнут предсмертные хрипы, и сородич, ткнув кобылу в живот, замрет в ожидании последних конвульсий, сын почувствует себя предельно уставшим. Тело кобылы содрогнется в последний раз, и тонкая струйка молока брызнет из еще живого вымени. Молоко пролетит расстояние в несколько шагов и окропит голову сына. Он не придаст значения этому обстоятельству, но впоследствии вспомнит о нем как о чем-то невероятном, но предопределенном. Отерев мокрый от молока и пота лоб, сын посмотрит вдаль, на покрытую вечерней дымкой долину, на гряды снежных гор, парящую над дымчатой далью, на нежно-бирюзовое небо, и тогда станет легко, просторно, и вечерний воздух будет так чуток к нему, что самое дальнее подножие гор сможет отозваться тотчас же на малейшее движение сына. Вместе со своим собственным, сын почувствует и облегчение кобылы, и слияние ее жизни со всей остальной жизнью. Лошадиное тело постепенно воспримет спокойствие неба, и только розовое распятие, коченея, будет подергиваться мелкой дрожью, словно пытаясь сберечь в себе трепетное, животворящее тепло. Сын вспомнит об одной отцовской привычке, — отец любил ходить в парикмахерскую вместе с ним, сыном. В детстве они ходили часто, потом все реже, при случае, и странно было то, что сын никогда не противился этому. После жужжания машинки, стрекота ножниц, легких прикосновений женских рук, они выходили из парикмахерской притихшие, обновленные, и отец говорил сыну: «Смотри, какой ты красивый». И сын отвечал: «Ты тоже очень красивый...» Возвращаясь домой, к маме, они не произносили больше ни слова, сохраняя между собой атмосферу дешевого одеколона и нежного молчания.

СОДЕРЖАНИЕ

Встреча с самим собой	3
В жарких странах	5
Экзамены	30
Резервы молочных рек	51
Сын	63

Жумабек Джумабаев

В ЖАРКИХ СТРАНАХ

Рассказы

Предисловие Мара Байджиева

Рецензент В. Шаповалов
Редактор Н. Пустынников
Художник Д. Чочунбаева
Худож. редактор К. Сейталиев
Техн. редактор К. Бурганакоева
Корректор И. Хроменкова

ИБ № 2405

Сдано в набор 28. 3. 1983 г. Подписано к печати 23. 5. 1983 г.
Д—02258. Формат бумаги 70×108¹/₃₂. Бумага типографская
№ 3. «Литературная» гарнитура. Печать высокая.
2,375 физич. печ. л. 3,325 условн. печатных листа
3,438 учетно-изд. л. 3,369 усл. кр.-отт. Тираж 10. 000.
Заказ № 130. Цена 20 коп.

Ордена Дружбы народов издательство «Кыргызстан»
720737, г. Фрунзе, ул. Советская, 170.

Киргизполиграфкомбинат им. 50-летия Кыргызской ССР
Госкомиздата Кыргызской ССР.
720461, ГСП, Фрунзе, б. ул. Жигулевская, 102.

Д 40

Джумабаев Ж.

В жарких странах: Рассказы Худож. Д. Чочунбаева. — Ф.: Кыргызстан, 1983. — 76 с.

«В жарких странах» — первая книга молодого киргизского прозаика, пишущего на русском языке.

Не все равноценно в рассказах Ж. Джумабаева, и, думается, что читатель простит это автору, понимая, что знакомится с первым творческим опытом. Верится, что читатель оценит и достоинства прозы молодого писателя.

Созидательная идейность, социальная честность и гуманизм — главное, что дает жизнь внешне «комедийным», за исключением рассказа «Сын», а по сути насыщенным серьезными раздумьями произведениям Ж. Джумабаева.

Д $\frac{70302-176}{М 451 (17)-83}$ 144-83.4702010200

Р2
ББК 84 Р7

20 коп.